

**ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН**



## РОСОМАХА

ПОВЕСТЬ

Это восьмое лето долгожданных школьных каникул для меня началось почти так же, как все предыдущие, — со счастливого выхода на работу. А ведь имел полное моральное право, подкрепленное хорошей учебой, как мои друзья-одноклассники, целых три солнечных месяца отдыхать и готовиться, прежде всего, физически, к новым учебным занятиям. Но мне так не терпелось скорее приступить к любимому сельскому труду, что я еще задолго до начала каникул, несмотря на протесты любимой мамы, передал с отцом, возглавляющим Нюйское отделение совхоза “Ленский”, заявление о принятии меня временно на работу в качестве простого рабочего. На следующий день после окончания учебного года я встал пораньше, чуть ли не с первыми лучами восходящего золотисто-малинового солнца. Спешно, словно на пожар, даже привычно не окатившись во дворе холодной водой, надел рабочую одежду, ещё с вечера заботливо приготовленную любимой матерью и ожидавшую меня на табуретке, приставленной к кровати. Не менее быстро позавтракав и, наотрез отказавшись от сытных бутербродов, выскочил на улицу, уже залитую таким ярким солнечным светом, что от взгляда на небесное светило глаза ослепли... В душе порадовавшись погожей погоде, я самой короткой дорогой по проулкам и переулочкам направился на раскомандировку в контору отделения совхоза “Ленский”. В то далёкое время она находилась в рубленом из кондовых сосновых брёвен, окантованных с двух противоположных сторон, длинном довольно большом здании, построенном ещё в довоенное время сверху подземного картофельного хранилища. Видимо, тогдашнее совхозное руководство решило, что совмещённое расположение производственных помещений как нельзя лучше подходило к суровым северным погодным

---

*ПЕРЕВЕРЗИН Иван Иванович родился в 1953 году в поселке Жатай Якутской АССР. Автор многих поэтических сборников, выдающийся поэт, вышедший из сибирской глубинки, из русского простонародья, постоянный автор журнала “Наш современник”.*

условиям, когда зимой морозы опускались до пятидесяти градусов и ниже.

Однако, как я ни торопился, контора уже была битком набита работными людьми, получавшими у бригадира наряд на выполнение дневного задания и тотчас выходившими на улицу, где, как по команде, доставали из карманов папиросы и закуривали, кто в глубокой задумчивости, словно чем-то сильно озадаченный, а кто с веселым, сияющим доброй улыбкой лицом. Когда подошла моя очередь, бригадир Анна Григорьевна Хабибулина, средних лет стройная якутка с черными длинными волосами, для удобства собранными в узел и заколотыми несколькими длинными заколками на затылке, с раскосыми коричневыми умными глазами, с тонкими, но сохранившими свежесть губами, в ситцевом легком платье с короткими рукавами, лучезарно улыбаясь мне, как доброму знакомому, попросила ознакомиться с приказом, подписанным управляющим, то есть моим отцом, о назначении меня объездчиком, а вернее, конным сторожем всех совхозных полей общей площадью более трёхсот гектаров. Тридцать из них были заняты под капусту, сто двадцать — под картофель, а на остальных посеяли овес с горохом на силос, который закладывали на весь период зимнего хранения в бетонную траншею. Тут же, в конторе, я без всякой волокиты получил на руки и распоряжение-наряд о выделении мне верховой служебной лошади. С этой бумагой я незамедлительно, чуть ли не бегом, отчего порывисто, во всю грудь дышал, и заявился на конюшню к заведующему Геннадию Николаевичу Сидорову, человеку крайне тяжелой судьбы. Еще во время войны он двенадцатилетним парнишкой получил десять лет лагерей за то, что очень любил лошадей...

Дело в том, что, работая помощником конюха, он объездил молодого жеребца-трехлетку и привязался к нему всей душой, как к родному, даже уприсил хмурого одноногого конюха дать ему ласковую кличку Мильий. Но высокое начальство из районного военкомата строгим, подлежащим безоговорочному исполнению постановлением приказало забрать любимца с еще несколькими колхозными лошадьми на фронт, который неумолимо к тому времени приближался к самой столице — Москве. Но не тут-то было! Геннадий, скорей всего по недопониманию из-за слишком юного возраста и ослепления горем внезапной разлуки с верным другом, ночью угнал своего любимца из конюшни и спрятал подальше от глаз людских, в глухом, почти непроходимом вековом лесу. Тем не менее, уже через несколько дней его отчаянный поступок был раскрыт опытным в розыском деле участковым милиционером по горячим следам, и лошадь первым же колесным пароходом отправилась на фронт, а он, по решению сурового суда, — на далекую Колыму в качестве заключенного.

— Здорово, Ванек! — как старого знакомого, благожелательно поприветствовал меня Геннадий Николаевич, перешагнувший к тому времени сорокалетний рубеж, ниже среднего роста, русоволосый, сухой, но очень жилистый, с открытым славянским лицом, на котором, словно бросая упрямый вызов горестной, полной лишений и страданий прошлой жизни, светились темно-голубые, добрые, жизнелюбивые глаза.

— Здравствуйте, Геннадий Иванович! — тепло поздоровался я в ответ и продолжил: — А я к вам в этот раз по серьезному делу!

И с решительностью, в которой чувствовалось горячее юношеское нетерпение, протянул в развернутом виде заведующему конюшней казенную бумагу-наряд. Геннадий Иванович, как бы давая мне время слегка поостыть, медленно, чуть ли не по слогу прочитал его несколько раз, не спеша аккуратно свернул пополам и, положив поглубже в нагрудный карман, с глубоким, почти отцовским интересом спросил:

— И что это тебе, Ванек, друг ты мой хороший, после школы никак не отдыхается? Все дети как дети — с утра в реке купаются, загорают на теплом ласковом песочке сколько душа пожелает, а ты сам напропалую лезешь в суровый рабочий хомут, как будто там густо медом намазано?!

— Да я уже, как вы выразились, к этому хомуту-то за восемь лет привык! Знаете, Геннадий Николаевич, так сильно привык, что не могу дожидаться, когда прозвонит последний звонок. Потом, сами понимаете, многодетной семье непременно помочь надо. Мать часто после последних тяжелых

родов болеет, отчего в своей любимой теплице почти не работает... А какая у моего отца, хоть и управляющего, зарплата? Сто сорок рублей! Курам на смех! Такими “деньжищами” семь голодных ртов не прокормишь! А я, глядишь, за лето, какое оно у нас на севере ни короткое, рублей эдак триста подзаработаю. Какая-никакая, а все большой семье своевременная помощь! По крайней мере, нам с младшим братом Николаем и старшим сестрам Тамаре и Наталье на то, чтобы собраться в школу не хуже других ребятешек, с лихвой хватит!

— Так-то оно так! Но всё равно хоть недельку-другую отдохнул бы.

— На горячей работе на всю катушку и отдохну! — весело ответил я. — Как там дедушка Ленин насчет этого сказал?

— Да очень просто! Смена одного занятия другим является отдыхом.

— Вот-вот! Сказал, как десять очков одним выстрелом выбил!

— И все-таки, Ванек, ты очень спешешь взрослой жизни кусок побольше ухватить. Так ведь и надломиться можно не только физически, но и морально. Не зря же в народной — ох, какой крепкой и глубокой — памяти укрепилась поговорка: всему свое время и место.

— Верно говорите, Геннадий Иванович! — сказал я и, заметив, что мой собеседник неожиданно скривил лицо, наклонился и в нескольких местах прямо через брюки почесал ноги, тревожно спросил его: — Вам плохо?

— Терпимо! Это мое суровое прошлое дает о себе знать. Ты, наверное, слышал от какого-нибудь из поселчан, что я самый что ни на есть настоящий бывший заключенный? По всей строгости закона военного времени как миленький десятку на Кольме в лагере оттянул, естественно под железным конвоем. Он хотя и был большой, но среди огромных полутундровых каменных просторов, почти лишенных настоящего леса, словно иголка в стогу, затерялся... Иной раз, особенно в зимнее время, когда устанавливался сорокаградусный мороз и снежные ветры, как по команде начальника зоны, вдвое, если не втрое усиливавшиеся к ночи, выли почище голодных волков, казалось, что лагеря вместе с сотнями человеческих жизней, пусть и осужденных по законам военного времени, и вовсе не было на белом свете. Жуть — да и только! Условия, в которых жили и трудились заключенные, были настолько невыносимыми, что из-за них да полученных на каторжной работе тяжелых заболеваний смерть людей косяками, как траву литовка, косила. Наконец мы с другом, старше меня на три года, доведенные до отчаяния, хотя и полуголодные, оттого физически слабые, все же нашли в себе мужество бежать... Специально дождались второй половины лета — времени созревания всевозможных таяжных дикоросов — я говорю о ягодах, грибах — это было крайне важно для поддержки хоть каких-то сил, поскольку на “материк” можно было выбраться только сушей, преодолев после лесотундры настоящую вековую тайгу, простиравшуюся до первой железнодорожной станции на полторы тысячи километров. В общем, сбегать-то нам удалось, вот только далеко от лагеря уйти не получилось по причине того, что мой старший товарищ, перепрыгивая через ручей, подвернул ногу. Вскоре мы были схвачены пущенными в погоню за нами охранниками, вооруженными автоматами. За всю жизнь людей злей и подлей, чем они, я не встречал. Посуди сам: эти негодяи на моего друга сразу же спустили остервенело лаявших и рвавшихся с поводков немецких овчарок, которые на моих глазах, к моему ужасу, буквально в ключья растерзали его. Меня же охранники так безоглядно и сильно били прикладами автоматов, что в нескольких местах сломали ноги, приговаривая: “Будешь век помнить, сучий сын, как от нас бегать! Следующий раз, так и знай, просто пристрелим как собаку! Глядишь, и другим неповадно будет с тебя пример брать, мразь ты этакая!” Но, несмотря на свою крайнюю жестокость, видать, для отчета, меня все-таки на самодельных носилках доставили в лагерную больничку, где я за пару месяцев кое-как и оклемался. Вот теперь, как только наша северная погода еще только где-то в глубинных небесах начинает меняться к дождю, а зимой к морозам, у меня в местах переломов ноги и побаливают, да нудно так! Днем, когда расхожусь, еще терпимо, а по ночам не знаю, куда их деть, и, вот зараза, никакие мази не помогают, ну все равно что мертвому припарки!

Все собираюсь по примеру твоего отца, фронтовика, на грязь, хотя бы наши якутские — кимпендяйские съездить, да никак не соберусь — то одно горит, то другое надо в безотлагательном порядке тушить. Ну ладно, как говорится, проехали...

Когда Геннадий Иванович вспомнил о перенесенных лишениях, голос его вдруг стал глухим, словно струна хомуса, задрожал, руки так сильно затряслись, что он с большим трудом, видать по лагерной привычке, свернул очередную сигарку, а когда наконец закурил, то вдыхал прогорклый табачный дым жадно, всеми легкими, и они, как мне невольно казалось, аж хрипели, а может быть, так и в самом деле было. Я всей душой проникся к нему жалостью, хотя понимал, что как раз она-то ему, человеку с железной волей, менее всего надобна. Что-либо говорить я не мог, словно напрочь потерял дар речи, и только прерывисто вздохнул, готовый в любой момент разрыдаться, как ребенок. Скорей всего, так бы и случилось, если бы Геннадий Николаевич, высказавшись, окончательно придя в себя, вновь совершенно спокойно не заговорил на первоначальную тему:

— Знаешь, Ванек, смотрю я на тебя, смотрю и неустанно Бога молю, чтобы мой подрастающий сынок Николашка вырос таким же, как ты, советливым и трудолюбивым не по годам!

— Не переживайте, обязательно таким и вырастет, даже лучше! — уверенно ответил я и, посмотрев на ручные часы — подарок отца за успешное окончание шестого класса, тихим голосом попросил: — А сейчас мне бы лошадь порезвее да повыносливее, а то работа-то, сами понимаете, ох как не ждет! Скот леспромхозовских рабочих, поди, уже с самого раннего утра, как к себе на скотный двор, наведаясь на зеленку, после дождя только-только густо пошедшую в рост!..

Геннадий Николаевич, как будто несколько минут назад своими горькими воспоминаниями о лагерной судьбе нанес себе еще одну душевную травму, как-то больно уж загадочно, вскользь посмотрел на меня, почесал за ухом, словно что-то важное для себя решая, а потом вдруг резко предложил, как шапку от души наземь бросил:

— Эх, Ванек, а мне ведь и в самом деле ничего для тебя не жалко — бери-ка моего серого жеребца по кличке Гром, а то он последнее время что-то, вижу, без доброй работы заскучал больше меры... Даже от отборного овса морду воротит и все недовольно своим зеленым, как огонь горящим, глазом косит... Того и гляди, как бы недоуздок одним махом головы не порвал и на волю-волюшку не ухлестал!

— Это уж не того ли нахрапистого, который, знающие люди говорят, был настолько свободолюбивым, что когда вы на него седло в стойле надевали, он, хрипя и ломая пополам ударами задних копыт стойловые жерди, чуть в обморок не упал? — не без робости спросил я.

— Его самого! — тотчас произнес Геннадий Николаевич с какой-то лишь ему понятной гордостью. — Только теперь не он в обморок падает, а я, когда по совхозным надобностям скачу на нем по полям да покосам с такой скоростью, что у меня от встречного ветра слезы из глаз так и вышибает, знай успевай ладонью утирать. В общем, бери, не пожалеешь! Во всяком случае, ни одна корова, ни один самый шустрый бычок от твоей хлесткой плетки не убегут. Слово даю!

Гром в деле действительно оказался не только очень выносливым, но и завидно быстрым на ноги. Мы с ним до обеда успевали объехать по всему периметру, а это без малого тридцать верст, вверенные мне совхозные посадки. Хотя они и были полностью огорожены, но старой изгородью из деревянных кольев и в пять рядов лиственничных, прогонистых жердей. Во многих, особенно дальних местах, поросших не только густым кустарником, но и самым настоящим вековым смешанным лесом, даже лиственничные кольца в земле сгнили, изгородь набор завалилась, а если и держалась, то лишь благодаря многочисленным подпоркам, установленным моими предшественниками. А коровы, непутевыми жадными хозяевами не отданные всего-то за три рубля, почти даром, в месяц пастуху, чтобы спокойно пастись на пастбище, специально отведенном для частного скота на Большом острове, предоставленные

сами себе, проникали через поломанную изгородь на дружно взошедшую зелень, нанося совхозу непоправимый ущерб. Среди непутовых хозяев находились даже и такие, которые сами — чтоб у них руки отсохли! — внезапно перерубали прихваченным специально с собой топором жерди изгороди и пускали в совхозное капустное поле свою скотину — жуй сочную зелень от пуза, наполняя вымя вкусным жирным молоком за государственный счет! От такого позорного поведения односельчан я, честно признаюсь, глубоко в душе вскипал самой настоящей злостью. Точно не зная хозяев животных в лицо, чтобы им напрямую сказать все нелюбезное, что о них думаю, я “заблудшую” корову выгонял с поля и со свистом и хлестким охаживанием кожаной плеткой по бокам гнал бедную, в общем-то ни в чем не повинную скотину километра три, аж на самый южный конец поселка, к огромной свалке отслужившего свой срок железа, где не то что травы-пырея, но жалкой соломинки днем с огнем не сыскать. Естественно, после такой процедуры непутовым хозяевам вечером ожидать от своей кормилицы привычного надоя было делом напрасным. Жестоко? Согласен! Но как по-другому учить порядку невидимых совхозных, а значит, и моих врагов — непутовых, да к тому же страсть как наглых хозяев животных, я не знал, да и не мог знать из-за постоянной нехватки времени.

Кроме охраны вверенного мне государственного добра еще ведь и приходилось даром ремонтировать прохудившуюся изгородь. Для этого к седлу были всегда крепко приторочены штыковая лопата, топор и двухсотмиллиметровые гвозди с молотком. За весь период работы охранником посевов такой на совесть восстановленной изгороди набиралось не меньше двух, а может, и трех сотен метров — никто ведь их не считал! В переводе на деньги это, по самым низким расценкам, составляло около двухсот рублей — в два с лишним раза больше, чем я в месяц получал за основную работу. Но я об этом совершенно не жалел, ибо в юности для человека с природным трудолюбием, развитым примером родителей, важно не сколько получишь денег за ту или другую работу, а насколько освоишь сам процесс труда, поскольку в нем приобретаешь все новые и новые рабочие навыки, которые, рано или поздно, обязательно пригодятся в долгой жизни. Да-да, как ни странно, но я уже тогда в посильной мере для моего юного ума это понимал.

Комариным да мошкариным вечером, который часто переходил в непроглядную, хоть глаза коли, ночь, закончив работу, я по уговору с Геннадием Николаевичем не возвращал Грома на конюшню, а, облюбовав недалеко от дома, у деревянного здания небольшой совхозной электростанции обширный джук со свежей, густой изумрудной травой, выводил на него пастишь. Чтобы он, наевшись от пуза вкусной, молодой, сочной травы, где-нибудь не запропал, я один конец длинной, метров в тридцать, веревки привязывал надежно к передней ноге лошади, а другой — к вбитому глубоко в глинистую землю крепкому березовому колу. Вдовольно вместительную, мной старательно сколоченную из обрезных тесин кормушку насыпал от души ядреного крупнозернистого овса, заранее полученного по соответствующей норме у кладовщика на складе. Естественно, этого овса, как мне казалось, жеребцу не хватало, чтобы быть сполна сытым, а значит, и способным выдерживать ежедневные, продиктованные характером моей работы, тяжелые, на износ, скачки. Просить о выделении сверх нормы было делом бесполезным, поскольку отпуск всех кормов утверждался загодя приказом главного зоотехника. Поэтому, отдавая себе полный отчет в своих, сразу скажу, нечестных намерениях, кормовую проблему я осмелился решить чуть ли не способом Геннадия Николаевича в его суровой донельзя юности... Как-то, заканчивая объезд полей, несмотря на наступившие вечерние сумерки, я заметил, что в одной селялке, стоящей одиноко в конце поля на меже, овес вперемешку с горохом не был полностью высеен, то ли потому, что не хватило площади пашни, то ли потому, что у селялки сломался какой-то важный агрегат... Только поздно вечером, когда совершенно стемнело, я, можно сказать, у совхоза для совхоза, без больших угрызений совести, только остро чувствуя страх быть пойманным на месте кражи, невольно то и дело оглядываясь по сторонам, весь посевной материал выгреб из бункеров и ссыпал в два холщовых мешка,

каждый весом килограммов по семьдесят. Пока возился, стало светать, и я вынужден был краденый корм спрятать в стоящем рядом с полем густом сосняке. Но назавтра, также поздним вечером, а вернее, наступившей ночью со своей спасительной непроглядной темнотой, тайком вывез его в поселок. Но на всякий худой случай не к себе домой, а к старой, требующей ремонта лодке, лежащей вверх днищем у самого края лужка с изумрудной травой. Там, под лодкой, и схоронил овес с горохом и почему-то — вот дурень! — не подумал, что в любой день старший моторист, по совместительству с основной работой занимавшийся не только ремонтом, но и строительством новых, в том числе и моторных “кораблей”, мог запросто взяться и за прохуdivшуюся лодку. Вот шуму-то было бы! А главное — всевозможных разборок, в результате которых точно вскрылось бы и мое, пусть и продиктованное заботой о животном, самодеятельное воровство. Слава богу, пронесло! Но это стало мне на всю жизнь уроком: никогда, ни при каких обстоятельствах не идти на сделку с совестью. Не тобой положенное, не тобой рано или поздно, но будет взято. И никак иначе! Только Геннадий Николаевич за своего любимого жеребца в части кормления мог быть совершенно спокоен. Одного немного жаль — он этого не знал. “Вот и хорошо!” — спохватился я, а то, думаю, за такую глупую “находчивость” он бы меня точно по вихрастой голловке своей шершавой, мозолистой ладонью тепло не погладил.

И все-таки в совхозе из всех многочисленных работ мне больше нравилось заготавливать на отдаленных участках для совхозного скота на всю долгую-предолгую зиму сено. По этой причине с еще большим нетерпением, чем какую-либо другую работу, ждал времени формирования сенокосных бригад и отправки их на те или иные уголья с богатым травостоем. Обычно это происходило в самом начале третьей декады солнечного июня, чтобы до непосредственной косьбы у работников звена было достаточно времени для ремонта заготовительной техники: конных и тракторных сенокосилок и граблей, волокуш, а прежде — обустройства жилья...

Хоть мой отец и возглавлял отделения, я никогда не просил его отправить меня конкретно в какую-нибудь сенокосную бригаду. В прошлое лето я работал на участке с эвенкским названием Какалыр, находившемся в пятидесяти километрах от поселка, славившегося своими огромным озером, протянувшимся вдоль сенокосных полей, как бы разделенными нарочно природой небольшими лесными перешейками на добрых три километра. В озере кроме огромных, с лопату, карасей водилась и другая богатая рыба: сорога и тугунок. В густой ярко-зеленой осоке, буйно растущей по озерным берегам, гнездились и выводили свое потомство утки всех калибров и мастей, а также гуси, важно переходящие по отмели с одного озера на другое. Когда их птенцы, в достаточной мере оперившись и окрепнув, вставали на крыло, озерная гладь буквально пестрела от них. Вот где было раздолье для заядлых охотников — стреляй не хочь! Тем более что косарям по заявкам совхозного руководства охотничье районное управление выдавало специальные лицензии на отстрел нужного количества боровой и водоплавающей дичи для организации котлового питания.

Однако на этот раз меня, естественно с отцовской подачи, назначили в бригаду Василия Ивановича Иванова, ежегодно заготавливающую для совхозных буренушек первоклассное, богатое каротином сено на одном из самых дальних участков, тоже с эвенкским названием, Жемпо. До него от поселка было не меньше восьмидесяти верст, двадцать из которых проходили вверх по течению величественной сибирской реки Лены со скалистыми берегами, по многочисленным расщелинам, поросшим лиственничным лесом, а остальные — сначала по лесовозной дороге, а потом по проложенному, а вернее, прорубленному в вековой тайге еще в далекие царские времена проселку. Когда меня, как положено, под роспись ознакомили с соответствующим приказом, я опрометчиво подумал: “Жемпо так Жемпо! Это даже хорошо — узнаю еще одно памятное таежное место, где в очень далеком время располагалось большое якутское поселение во главе с тайоном, по-русски князем”.

Знающие люди говорили, что там рядом нет большого озера, зато чуть в отдалении, этак в трех-четыре километрах, небольших утиных водоемов с

твердым дном было великое множество. А на находившуюся перед ними обширную, открытую со всех сторон поляну с черным песком, на взгляд напоминающей печную золу, почему-то вот уже много веков не зарастающую даже травой пыреем или колочками, способными выживать в страшно знойной пустыне, по осени глубокой ночью садились стаи гусей и лебедей. Протекавшая рядом стремительная горная речка с холодной до зубной ломоты и прозрачной, как слеза ребенка, водой, богатая хариусом, делала эту поляну особенно привлекательной: птицы не только отдыхали после длительного перелета на теплый юг, но еще и в полной мере подкрепляли силы рыбой и другой живностью в виде тех же многочисленных небольших ящериц, постоянно снующих в поисках пищи по черному песку. На обочинах можно было поохотиться и на серых мышей, тоже водившихся в немалом количестве.

Когда я пришел на конюшню сдавать Грома Геннадию Николаевичу и взамен получить другую, отряженную на сенокос лошадь, он на мое приветствие ответил крепким пожатием руки и тотчас внимательно оглядел своего жеребца, потом, подойдя к нему вплотную, провел ладонью по упитанному крупу и удивился:

— Ванек, ничего не понимаю! Конюшня находится у самого края картофельного поля, отделенного от обширных посадок кормового овса лишь узкой межей. Это позволяло мне из-за ограждения частенько наблюдать за твоей шустрой, прямо-таки стоической работой. Думал: “Ну ладно, парень молодой, пусть власть потешится”, тем не менее, мне было очень жаль Грома, когда ты, как заводной, верхом на нем по нескольку часов кряду гонялся за коровами да быками, которые, задрав хвост трубой, как быстро ни убегали от тебя, все равно были настигнуты и, подгоняемые жгучими ударами плетки, выдворены с поля. Я, не буду скрывать, даже жалел, что отдал тебе своего жеребца, как это мне казалось со стороны, на самое настоящее истязание. И, конечно, с глубокой грустью ожидал, что ты вернешь мне Грома вконец исхудавшим — аж можно будет одними глазами, не хуже рук, ребра считать! — от бешеных многочасовых скачек. А тут смотрю себе удивленно и душой, как ребенок малый, которому наконец вернули любимую игрушку, не нарадуюсь: жеребец в полном порядке, исполненный таких сил и лихости, что аж на месте спокойно не стоит, — все бьет и бьет передними копытами — только земляные ошметки в стороны сильным веером так и летят! В чем дело, не скажешь, Ванек?

— Как не сказать? Скажу! Причем единственно верно! В большой любви к добрым животным, Геннадий Николаевич! Да-да, только в ней одной! И вам, как никому другому, это хорошо известно!

— Однако, ты, мой юный друг, лукавишь, сильно лукавишь! Но, как говорится, победителя не судят. В общем, молодец! И тут же, переведя разговор совершенно в другое русло, спросил: — А на покос, значит, в этом году отправляешься в далекий старинный наслег Жемпо?

— Туда, туда, Геннадий Николаевич!

— А я, Ванек, в том знатном месте по службе не раз бывал. Сразу скажу тебе, что оно во всех отношениях на зависть! Там тебе и хороший травостой, и прекрасная охота, да и ловля на мух золотистых хариусов замечательная! — И вдруг, вспомнив, что время бежит, вновь переменял тему разговора: — А лошадь, отряженную на покос, я уже подготовил. Можешь хоть сегодня забирать.

— Вот и отлично, звено как раз сегодня и отправляется!

Проведя меня в самый конец конюшни, Геннадий Николаевич показал на стоящую в стойле и спокойно хрумкающую зеленую свежескошенную траву статную, широкогрудую, с сильными, толстыми, как у самых настоящих воронежских тяжеловозов, ногами, недавно подкованную на совесть серую лошадь:

— Кличут этого мерина-трудягу Спокойный. На тяжелой сенокосной работе ему замены нет. Да что я расхваливаю коня? Сам увидишь!

Не говоря ни слова, я вошел в стойло, на всякий случай не без опаски отвязал поводья и под уздцы вывел лошадь на просторный, сплошь покрытый навозным слоем двор. Накинул на спину мерина кавалерийское кожаное

седло с войлочным потником, затянул потуже подпружные ремни, подогнал под свои ноги стремяна и, наскоро попрощавшись с Геннадием Николаевичем, молодецкато вскочил на Спокойного и стал править к дому, где меня терпеливо поджидал верный друг — годовая овчарка Мухтар — и еще с вечера собранные нехитрые вещи, необходимые в любой дальней и долгой производственной командировке.

Наскоро пообедав под жалостливым взглядом матери: шутка ли! — сын ужасает на целых два месяца чуть не к черту на кулички, — приторочив объемистую вещевую сумку с ляжками к одной стороне седла, к другой — тщательно упакованные в крепкую мешковину “тозовку” с ружьем двенадцатого калибра и несколько пачек патронов, я спустил с цепи собаку, скомандовав ей: “За мной!” и поехал на песчаный, пологий берег Лены, где обычно приставали суда. Там уже с самого утра полным ходом шла погрузка на плоскую большую баржу нашего сенокосного звена со всем необходимым скарбом, горюче-смазочными материалами для трактора Т-16, запасными частями и агрегатами к разной прицепной сенозаготовительной технике, находящейся на хранении непосредственно в Жемпо. Если других лошадей на баржу приходилось чуть ли не силой, подхлестывая по крупу плеткой да зычно покрикивая, загонять по дощатому, сильно прогибающемуся трапу, то Спокойный, взятый крепко под уздцы, без тревоги, словно всю жизнь только и делал, что путешествовал, катался на баржах по рекам, вместе со мной взшел на высокий борт, грохоча железными подковами по железной палубе. Следом за ним в два прыжка поднялся по трапу и Мухтар. Лошадь я напрямик отвел к небольшой, всего с одним иллюминатором, по случаю жары открытым внутрь настежь, рубке шкипера, возле которой была изготовлена из крепких ошкуренных жердей коновязь. Привязал к ней Спокойного, рядом с ним властно приказал сесть собаке.

Когда загрузка сполна закончилась и стопятидесятиильный катер, арендованный в леспромхозе, от натуги аж вжавшийся кормой в реку, словно приготовившийся к какому-то огромному прыжку и совершивший бы его, да невидимые пути не позволяли, вывел тяжело груженную баржу на самый широкий стремительный фарватер великой полноводной Лены, я подошел к спокойно, не без удовольствия курящему бригадиру с непокрытой неизменной кожаной фуражкой головой, отчего его волосы, несмотря на то, что они во время жаркой погрузки от пота слиплись, прядями развевались на свежем речном ветру:

— Василий Иванович, извините, что я вас неожиданно беспокою, но можно задать волнующий меня вопрос?

— Задавай, Иван, сын Ивана, — с готовностью, но не без доброй иронии разрешил выдавший виды бригадир, обдав меня клубом табачного дыма.

— Спасибо, — поблагодарил я, отвернувшись от следующего никотинового облака, — но вы не могли бы мне сказать, в каком качестве намерены использовать меня на покосе?

— Ты ведь сено косишь не первый год? Так? — вместо того, чтобы сразу ответить, спросил Василий Иванович.

— Да, не первый!

— Так вот, я думаю, что тебе пора управляться конными граблями. Как сам понимаешь, большой сноровки в этом деле не надо, ну а силенок должно с лихвой хватить! Или я все же тороплюсь?

— Никак не торопитесь, Василий Иванович! Я уже в прошлом году не только всю греб сено, но подменял по производственной надобности тракториста.

— Значит, я верно подумал насчет тебя. И моим словом, и твоим согласием давай свяжем, скажем так, наше общее решение. Годится?

— Годится! — согласился я. — Но, вы уж, пожалуйста, извините, у меня есть еще одна не менее важная просьба!

— Какая?

— А можно за граблями закрепить Спокойного?

— А почему нельзя? Можно, тем более что лошадь, как я вижу, тебе приглянулась. Не зря же ты, едва отчалили, уже успел к ее морде мешочек



с овсом подвязать, который она с удовольствием поедает — наверно, и сам слышишь, какое хрумканье на всю баржу стоит! Только в таком случае тебе придется одному от Турукты до самого Жемпо, это больше шестидесяти верст, и все как одно через глухую тайгу, да еще и в ночь, перегонять Спокойного. Не убоишься?

Вопрос застал меня врасплох. В башке мгновенно вспыхнула страшная картина глухого, ушедшего в непроглядную темень, полного хищных зверей леса. Я невольно поежился. Но все же нашел в душе силы, чтобы как можно уверенней ответить:

— Не убоюсь! Да и не один я буду, а со своим верным Мухтаром!

— Это с тем, который лежит рядом с лошадьёю?

— Василий Иванович, он не просто лежит, а работает. Во-первых, охраняет лошадь, во-вторых, приглядывает за мной!

— С лошадьёю все ясно! А за тобой-то что наблюдать?

— Как что? Вдруг вы на меня нападете! — в шутку сказал я.

— Ну нападу — и что?

— Хотите посмотреть?

— А почему бы и нет!.. Но строго предупреждаю: если ничего из твоей затеи не выйдет, то лошадь, о которой только что договорились, чтобы она была закреплена за граблями, будет в паре с другой — Смелым — впрягаться в сенокосилку! Идет?

— Запросто! А теперь просто, но резко замахнитесь на меня.

И Василий Иванович, видимо, чисто из любопытства, наблюдая одним глазом за собакой, вскинул руку. Тотчас Мухтар сорвался с места и молнией бросился в сторону бригадира, готовый в прыжке острыми, как ножи, клыками вцепиться мертвой хваткой в руку. От неожиданности бригадир шарахнулся в сторону, но я властно приказал: “Мухтар, фу!”, и собака, по инерции проскользив передними лапами по железной палубе метра два, остановилась и, оскалившись, злобно зарычала на Василия Ивановича. Я подошел к собаке, погладил ее по холке, успокаивая: “Свой, свой, Мухтар...” После этих слов он как ни в чем ни бывало лег у моих ног, вывалил из пасти алый язык, с которого капала слюна, но все равно настороженно смотрел на моего мнимого обидчика.

— Ну и зверь же у тебя, Ванек, а не собака! — от испуга, приходя в себя, произнес Василий Иванович и тотчас спросил: — А откуда пес?

— Мне его месячным щенком прошлой весной за хорошую учебу подарил отец. Я сразу же из обрезных тесин построил для него будку, которую, чтобы в ней сохранялось собачье тепло, оббил изнутри старым войлоком. Он в ней и сегодня, можно сказать, припеваючи живет. Когда ему исполнилось шесть месяцев, по книге “Собаководство”, купленной в сельповском магазине, стал приучать его выполнять разные команды. Как охотник он, конечно, уступает нашей северной лайке, но в части защиты или охраны ему замены нет! В чем вы только что убедились сами. Вообще я с самого раннего детства, по крайней мере сколько себя помню, очень люблю собак. Этот пес у меня уже второй, первый, которого я тоже кликал Мухтаром, к сожалению, еще когда мы жили под Якутском, был насмерть сбит грузовиком...

— Сочувствую тебе, Ванек!

— Спасибо...

— И то, что собак любишь — это замечательно!

— Я тоже так считаю, хотя бы потому, что чем она злее, тем добрее человек, вырастивший и выдрессировавший ее, поскольку, считая себя защищенным, он не может с большей силой не чувствовать личную свободу... Может, я ошибаюсь, но думаю всеерьез именно так!

— Да, Ванек, ты, как я вижу, с головой! Уж не собираешься ли после школы учиться на математика или философа?

— Вы это, Василий Иванович, всерьез спросили?

— Конечно!

— В таком случае без всяких шуток отвечаю: нет! Поскольку с раннего детства грежу морем, вернее, хочу выучиться на морского офицера, чтобы

дослужиться до звания капитана первого ранга и стать командиром ракетного крейсера — не больше не меньше!

— Ну что ж, попутного ветра тебе в жизненные паруса! — закончил разговор Василий Иванович. И, повернувшись спиной к ветру, закурил следующую папироску от спички, укрытой от ветра в ладонях, и стал с наслаждением втягивать горьковатый табачный дым в легкие.

А я с сожалением подумал: “Ах, профан же ты, Ваня! Когда выиграл пари у бригадира, надо было со своей стороны на спор тоже какое-нибудь условие выставить. Ну да ладно! Всяк горазд после драки кулаками махать или задним умом думать!..” И, отправив Мухтара на место — к Спокойному, я, по узким рифленным железным ступенькам поднявшись в рубку, стал во все глаза любоваться ленскими просторами!

В тот летний день, как и положено в начале последней декады июня, стояла солнечная сухая погода. Температура уверенно уже к двенадцати часам поднялась аж до тридцати одного градуса — наступила самая настоящая жара, которая так раскалила воздух, что он вдыхался тяжело, отчего приходилось его хватать широко открытым ртом, ну словно выброшенная волной на берег рыба. На берегу, открытом прямыми солнечными потокам, пока шла погрузка, все члены бригады буквально умывались соленым потом. Казалось, сердце колотится не в груди, а в самом горле, готовое от нагрузки вылететь вон! Приходилось вместо десятиминутного перекура время о времени устраивать самое настоящее купание с заплывом подальше в реку, где вода никогда не прогревалась больше восемнадцати градусов — была ободрающе прохладной. Тяжко приходилось и крепко привязанным лошадям. Словно очумев от жары, многочисленные оводы, огромные пауты, гудя, как бомбовозы, не давали никакого житья бедным животным, — с силой впиваясь своими острыми, как птичий клюв, жалами в крупы и другие места, до которых не доставал жесткий хвост. Но, едва катер оттащил на длинном, толстом металлическом тросе баржу на самую середину широченной реки, как все круто изменилось...

Нет, солнце по-прежнему стояло в зените, но от воды исходила ощутимая прохлада, а встречный ветер так освежающе обдувал лицо, что словно сами собой блаженно закрывались утомленные от прямых солнечных лучей глаза. Волны звонко плескались в крутые борта баржи, но поднятые не ветром, а огромными встречными судами: нефтеналивными танкерами, сухогрузами, пассажирскими теплоходами. Да еще и снующими вверх и вниз по течению многочисленными лодками с подвесными, стройно гудящими, словно назойливые комары, моторами. От высоченных правобережных скалистых сопкок, поросших густым лиственничным лесом, почти до самого фарватера лежали светло-синие тени, переламываясь на пенистых волнах. Серо-белые кудлатые облака вместе с солнцем словно оторочивали золотом белые гребни, глубоко отражаясь в реке. А в воздухе, несмотря на сильный зной, стремительно носились белоснежные чайки с большими, гибкими, сильными крыльями, то опускаясь до самой воды, на развороте чиркая крылом, как бритвой, по волнам, то поднимаясь чуть ли не к самым облакам, чтобы с высоты зоркими глазами высматривать поднимающуюся из темных глубин к лазурной поверхности реки рыбу. Любуясь свободным полетом речных птиц, мне самому хотелось, как крыльями, взмахнуть руками и прямо с рубки взлететь и стремительно подняться все выше и выше, как бесстрашный Икар, прямо к раскаленному солнцу!

Через два часа плавания двадцатикилометровый водный отрезок нашего пути без каких-либо происшествий был преодолен. Катер подвел баржу к высокому песчано-глинистому берегу, вдоль которого стояли деревянные, рубленные еще до войны жилые дома Турукты, поселка, в котором жили и трудились лесозаготовители, а до войны в нем еще располагался небольшой колхоз, в котором на полях, отвоеванных у дремучей тайги, рабочие выращивали рожь. Одним из первых на берег сошел я со своей лошадью и собакой. До Какальра дорогу знал хорошо, да и поворот на Жемпо мне был известен, поскольку еще в прошлое лето в непогоду с ружьем облазил все окрестности. Поэтому не терял и минуты зря, тем более что за время вод-

ного пути я с Мухтаром пообедал чем бог послал, а Спокойный схрумкал полностью приличную порцию овса.

Рукой махнув бригадирю: “Всего хорошего! До встречи!” , я, с тревогой помня о возможных таежных опасностях, словно бросившись в омут с головой, все же решительно отправился в путь. По совершенно беслесному, напрочь запыленному ветрами и лесовозными машинами поселку нетерпеливо проехал шагом, чтобы не злить местных собак, но как только миновал последний дом — помню, это было почерневшее от времени здание четырехквартирного жилья, пустил лошадь крупной рысью. Проселочная грунтовая дорога была в таком хорошем состоянии, так укатана шинами автомашин, что позволяла скакать и галопом. Но надо было беречь лошадиные и свои силы, чтобы без остановок даже на еду, как можно скорее добраться до места. Солнце наконец пусть медленно, но пошло на закат. Жара, словно напрочь притомившись от непосильной работы, стала слабеть, причем ощутимо. И я вспомнил, что курточку, заботливо предложенную матерью, я вместе с другой одеждой уложил в дорожную сумку, которую — вот верхогляд! — в спешке оставил на барже, — как был в легкой, с короткими рукавами рубашке, так в ней и отправился в неблизкий таежный путь!

Первые двадцать километров под птичьих распева да кукование кукушки прорылся в охотку и стал спускаться по длинному склону с высоченной лесистой сопки, которую водители лесовозов еще в первые послевоенные годы за большую крутизну прозвали Шаманом, к глухой таежной речке Жербинка, сильно перекастистой, с глубокими заводями у крутоярых берегов, взятых в обрамление высокой, жесткой и острой, как лезвие якутского ножа, осок. Сразу вспомнилось, как в прошлом году мы всей бригадой несколько раз, пресытившись озерной рыбой, раз в двадцать дней устраивали выходной и приезжали на лошадях половить речную — щуку, окуня, ельца и царя всех таежных небольших речек — линка, с темной чешуей на спине, а по бокам — серебристой!

Рыбалка заключалась в том, что двое самых умелых рыбаков две двадцатипятиметровые сети “тридцатки” связывали между собой и перегораживали ими речку с одного берега до другого. А остальные, срубив длинные гибкие тальниковые ветви и раздевшись до трусов, встав в ширину речки на равном расстоянии друг от друга, где вплавь, где бродом двигались навстречу сетям, постоянно с силой хлеща вперед себя по воде. Стая рыб, испугавшись, одной частью разбегалась по сторонам, зато другой поднималась со дна омутов и бросалась вверх по течению прямо в расставленные сети. Нам, новоявленным рыбакам, оставалось только вытащить отяжелевшие от большого количества разнообразной рыбы снасти на берег, где поровнее, и с горящими глазами от созерцания живого серебра вынуть богатый улов. Рыбы и в самом деле оказывалось так много, что хватало и для вкусной ухи, сваренной тут же на берегу на заранее разведенном костре, и для того, чтобы положить про запас в старый ледник, принадлежавший якуту-связисту, с семьей почти безвыездно проживавшему в Какальре. А чтобы рыба за время обратной дороги на жару не испортилась, мы укладывали ее в бочонок рядами, между которыми щедро простилали промоченную траву и мох, заготовленный в ближайшей лесной чаще. Таким образом, за короткий отрезок дневного времени мы всей дружной бригадой и вдоволь ловили рыбу, и купались, и отдыхали от тяжелого сенокосного труда.

В Какальр я прибыл в сумерках, но еще на подъезде к нему душу охватило ностальгическое чувство по прошлому лету. Эх, с каким бы я удовольствием вновь прошелся по знакомым чуть ли не наизусть поляночкам, по которым вышел бы к большому, протянувшемуся на несколько километров озеру, памятному сердцу не богатой рыбалкой, а тем, что именно на нем я впервые в жизни увидел, нет, смел созерцать якутских черных лебедей — стерхов! Время поджимало, и я, хоть и был хорошо знаком с якутом-телефонистом, жившим со своей семьей в старом пятистенном доме, крытом тесом, за долгое время почеревшим и местами охваченным сырой зеленой плесенью, не стал заезжать даже попить чайку, который, конечно, взбудрил бы меня. Однако сидящие на цепи у дома собаки, страшно злые, учуяв чужого человека,

да еще и на лошади, бешеным лаем сопровождали меня до самого переезда через речку Жемпинку. Несмотря на сгустившиеся до почти непроглядной темноты вечерние сумерки, я смело вброд на перекате преодолел ее и выехал на заросшую травой и кустами, старую-престарую, еще помнящую эвенских оленеводов таежную дорогу. Кроме как шагом, постоянно переживая, как бы лошадь ненароком не оступилась, ведь это могло грозить вывихом, ехать по ней было невозможно. С темнотой, неотвратимо, как вражеские полчища, подступившей со всех сторон, стало холодно и сыро. Я все чаще и чаще слезал с заметно уставшей лошади, чтобы, держась за стремя, быстрой ходьбой хоть немного согреться. На ходу то и дело натывался на колючие ветки кустов, казавшиеся лишь смутными пятнами на лике земли. Тем не менее они с силой хлестали меня по рукам и плечам, в кровь царапали незащищенное лицо. Мухтар то ли от страха, помимо его воли в темноте, словно в жуткой неизвестности настигавшего его, то ли от чувства сопричастности с человеком, то подбегал ко мне, то убегал вперед. И все же его поведение было уверенным и вселяло уверенность в меня, я начинал меньше бояться... Хотя каждый впереди растущий, скорей угадываемый, чем видимый куст непременно казался вставшим на дыбы огромным медведем. К безлунной и почти беззвездной ночи нудно зудящих, ох каких кусачих комаров стало меньше. Зато въедливая, как вши, мошкара кишачими тучами набрасывалась на мои открытые руки, жадно впивалась в лицо, нагло лезла в глаза. Стараясь хоть как-то избавиться от нее, я без перерыва только успевал хлестать ладонями по рукам, протирать опухшие, красные от ядовитых укусов веки.

Короче говоря, последняя часть так называемой дороги от Какалыра до Жемпо мне показалась земным адом. И все же я ни разу не пожалел, что в ночь и в одиночку отправился в непредсказуемый таежный путь, поскольку в самом конце его меня ожидала любимая работа и встреча со старшим товарищем, Георгием Балаевым — работавшим на постоянной основе охотником в госпромхозе, а летом охотно входившим в сенокосную бригаду подзаработать дополнительных денег. Что ни говори, но за заготовке сена в совхозе платили очень неплохо!

В километре от Жемпо дорога, наконец выбравшись из болотистой местности, шла через сухой сосновый бор. С облегчением и радостью я глубоко вздохнул, словно меня после долгого сидения в подполье выпустили на волю-волюшку, и снова погнал лошадь рысью, хотя и понимал, что ей, сильно вспотевшей, с трудом переставлявшей ноги, десятичасовая дорога тоже досталась ценой больших усилий. С первыми лучами восходящего солнца, когда окружавший меня мир стал вновь хорошо виден, я уже нетерпеливо стучался в темную от времени колоду избышки Георгия. Друг-охотник, спросонья протирая глаза, отворил дверь не сразу, но, увидев меня, еле стоявшего на ногах, так и ахнул:

— Боже мой! Это что с тобой, Ванек, случилось?

— Может, Георгий, сперва здороваемся? — собрав последние остатки сил, проговорил я. — Как-никак целый год не виделись!

Вместо ответа он обнял меня своими большущими сильными руками и крепко-крепко прижал к могучей широченной груди. И мне стало настолько хорошо, что сразу же забылись все дорожные напасти, треволения, страх за себя и лошадь. И я вдруг физически почувствовал, что очень-очень проголодался — в подтянутом чуть ли не к самым ребрам животе настойчиво засосало... Когда сели за грубо сколоченный из кое-как обструганных досок стол, впритык приставленный к единственному небольшому окошку, очень напоминавшему узкую крепостную бойницу, Георгий, не без сожаления приглядевшись к моему лицу, сам же участливо и ответил на свой тревожный вопрос:

— Нда, и досталось же тебе от проклятого гнуса! Извини, Ванек, но у тебя сейчас не лицо, а сплошное кровоточащее тесто. Глаза заплыли так, что их почти не узреть! А сам-то хоть что-нибудь видишь?

— С трудом, — признался я.

— Вот давай ладом подкрепишься чем Бог послал да ложись на мое охотничье лежбище отдыхать. О коне и собаке позволь позаботиться мне!

Я так и сделал, даже не соизволив раздеться, ибо еда не прибавила сил, а, наоборот, окончательно расслабила. Сон растянулся аж до вечера, то есть почти на полсуток! Встав, чувствуя во всем теле ломоту, с хмурым, как дождевое небо, лицом и выйдя на крыльцо, я увидел, что у недалеко стоявшего дома, в котором мне вместе со всей бригадой предстояло жить до самого конца лета, ярко горел большой костер. А вокруг него сгрудились остальные, приехавшие днем в тележке, прицепленной к трактору, члены звена — кто-то сидел на сучковатой чурке, кто-то просто стоял, закурив папироску, кто-то полулежал, покусывая свежую травинку, тут же у костра и сорванную, но все как один участвовали в спокойном, рабочем разговоре, а вернее, строили планы на завтрашний первый сенокосный день. И я стыдливо поймал себя на мысли, что очень боялся, как бы и в это лето члены бригады, оказавшись без женского строгого догляда, сразу же по приезде на сенокос не ударились в пьянку на день-другой, а может быть, и на целую неделю. Якобы с целью отвести по-мужски на полную катушку душу, чего я никак не мог понять, зато должен был, как самый молодой, сжав от злости и бессилия зубы, возиться с опьяневшими чуть ли не до бессознательного состояния здоровенными мужиками — то кормить их, то убирать за ними грязную посуду, то вообще разнимать еще не набравшими полную силу руками слишком горячих, нахрапистых, прямо в избе схватившихся в драке, в которой без разбитых в кровь носов и синяков не обходилось. И теперь, при виде совершенно другой картины прибытия на место сенокосной работы членов звена я перед ними испытывал глубокий стыд за преждевременные несправедливые мысли. И вместе с этим отдавал себе отчет, что такой рабочий настрой стал возможен благодаря серьезности к подходу решения производственных задач бригадира Василия Ивановича. Это меня настолько приободрило, что последние остатки сонливости как рукой сняло, и я по-деловому присоединился к обсуждению общебригадных планов.

Таким образом, с первого же дня долгожданная трудовая жизнь на природе со всей напористостью и ответственностью вступила в свои полные права. Время в трудах да заботах полетело так быстро, что я забывал по утрам срывать очередной листок календаря, висевшего на почерневшей от времени бревенчатой стене над моей головой.

В одно августовское, все еще теплое сенокосное утро я проснулся, по обыкновению, раньше других членов бригады, поскольку должен был до завтрака отыскать и привезти в стан рабочих лошадей. Поеживаясь и зевая, вышел на высокое, почти на всю стену, правда без перил, крыльцо старого якутского дома, в котором расположились на временное жильё все члены звена, за исключением Григория. Он был построен в далекие царские времена из толстых, просушенных в тени до звона сосновых бревен, отливающих на солнце золотом, и каким-то чудом сохранился до наших дней в полной сохранности, если не считать утраты — отслужившей свой срок мебели, нерадивыми охотниками пущенной на растопку в зимние, страшно морозные месяцы в качестве дров, старых подшивок царских газет. А таких домов в якутском наслеге (поселении) с эвенским названием Жемпо, если судить по оставшимся в целостности и сохранности каменным фундаментам, сложенным из плоского речного плитняка без какого-нибудь скрепляющего раствора, было не меньше трех десятков. Располагались они хоть и на небольшом расстоянии друг от друга, но весьма хаотично: кому из местных жителей — аборигенов больше понравится то или другое место, там и начиналось вольное строительство, с каждым днем все смелее заявлявшее в полный голос о себе дробным стуком топоров, растянутым на всю длину двуручной пилы шиканьем, деловыми разговорами работников между собой да пронзительными криками вездесущей детворы...

Отдаленное расположение — больше чем шестьдесят километров — наслег от знаменитого почтового зимнего тракта, прокладываемого ежегодно по льду реки Лены, длиной почти в две тысячи верст, по которому еще в царские времена лихие ямщики на выносливых тройках осуществляли сообщение между Иркутском, тогдашней столицей восточной части государства

Российского, до возникшего стараниями казачьего сотника Петра Бекетова города Якутска, с православными храмами внутри, хоть и деревянной крепости, но весьма грозной, с высокими квадратными башнями, крытыми тесом, и крепкими лиственничными стенами, говорило о желании якутов, идущих вслед за кочующими эвенками со своими многочисленными оленьими стадами все ближе и ближе к тундре, с почти не иссякающим кормом — белым, очень питательным мхом-ягелем, — как можно дольше сохранить свою национальную культуру, обычаи, да и просто привычки, перешедшие в наследство к ним от предков, и, конечно, свой неповторимый самобытный уклад жизни. И дно тысячи лет назад высохшего озера-моря, имевшего круглую форму, за многие века превратившееся в глухое таежное место, поросшее густым, сочным разнотравьем, в основном открытое для глаз только зверей и птиц, как нельзя лучше служило для этого. Чтобы на всякий суровый случай практически все пространство перед наслегом могло просматриваться одним взглядом, дома расположили на единственной невысокой возвышенности, в самом начале аласа (лесной поляны), рядом с густым, трудно проходимым смешанным лесом, где преобладали вечнозеленые лиственницы с крепкими корнями, вросшими в грунт не менее чем на полтора-два метра, как бы вцепившимися в суглинистую землю мертвой хваткой.

О том, что действительно в далеком-далеком прошлом озеро-море существовало, свидетельствовали наполовину сгнившие, а то и вовсе превратившиеся в труху плавучие средства, напоминающие баркасы, — и я, проезжая верхом на лошади по бывшему берегу с целью проверки ловушек, поставленных на боровую дичь, время от времени на них натыкался. Чаще всего они встречались почему-то на противоположной от нашей сенокосной стоянки южной стороне. Там же, только у самого начала многочисленных, врезающихся в расступившуюся вековую тайгу на целый километр неглубоких озер с твердым песчаным дном и обрамленных густой, острой, как лезвие бритвы, темно-зеленой осокой, стоял большой дом-пятистенок, к немалому удивлению тоже хорошо сохранившийся. Видимо, в нем до прихода в эти края советской власти проживал богатый местный тайон. В доме, к сожалению, из мебели тоже не сохранилось даже хоть какого-нибудь стула или стола, а вот невысокие, мастерски сработанные филенчатые сплошные перегородки между многочисленными комнатами — все до единой. И были они почему-то обклеены старыми, еще царских времен газетами, с черно-белыми фотографиями, с текстами, набранными с неизменным употреблением старой орфографии. Подобная печатная продукция была в немалом количестве разбросана по полу и только на одном из широких подоконников с облупившейся голубой краской лежала ровной стопкой. Читая эти пожелтевшие, хрупкие, готовые в любую минуту от одного движения быстрых неосторожных рук рассыпаться, как труха, раритеты, можно было с головой погрузиться в прошлое, проследить развитие многих исторических событий, происходивших в нашем отечестве, во всех подробностях, чуть ли не в хронологическом порядке. Поэтому без всякого сомнения можно было считать, что в неоглядной, простирающейся на тысячи и тысячи километров во все стороны медвежьей да сохатиной, то есть лосевой, не имеющих себе во всем человеческом мире аналогов тайге, находился какой-никакой, но музей...

На сенокосе мы всей немногочисленной бригадой жили не по ручным или настольным, точно идущим часам, а по природным, как наши далекие предки: с первыми лучами восходящего солнца пробуждались и приступали к работе, а с последними, вместе с небом медленно угасающими, уже в легких сумерках, заканчивали. Выпрягали лошадей, не меньше нас уставших за долгий летний день, о чем говорили их низко опущенные головы и расслабленные, обычно стоящие торчком, высокие чуткие уши, и отпускали пастись до самой ранней зари. Но они, жадно пощипывая вкусную сочную траву, могли забрести к черту на кулички или, утолив голод, влекомые многолетней привычкой, вообще возвратиться, за ночь отмахав добрых восемьдесят верст, на конный двор, к страшному изумлению конюхов. А то и с концами

смешаться с каким-нибудь табуном диких, низкорослых, но необычайно выносливых своих собратьев, что значило бы только одно: навсегда потерять коней совхозных, с чьей помощью бригада должна не только выполнить за два летних месяца, но и значительно перевыполнить производственный план по заготовке сена, желательного первоклассного. Поэтому всем без исключения лошадям спутывали крепкой пеньковой веревкой передние ноги, а вожажу на шею еще и вешали ботало. Это такой железный, вроде колокола, только небольшого размера предмет с гайкой, подвешенной на кожаной веревочке внутри. Как говорится, береженого Бог бережет! И если в посевную весеннюю страду день год кормит, то в летнюю, сенокосную — порой и всего лишь одна неделя. Так что в такой таежной, отдаленной от совхоза на многие километры сенокосной глуши без лошадей — сена не накопишь, а значит, и достойной зарплаты не получишь. Кстати, она напрямую зависела в равной мере от количества и качества заготовленного грубого корма, и диктовалось это тем, что если косить следовало только по росе, то сгребать в валки с последующим копнением — исключительно в погожие солнечные дни. Любой, даже самый незначительный дождик отрицательно сказывался на качестве сена, ибо, намкнув, оно почему-то значительно теряло каротин, и специальной совхозной комиссией во главе с главным зоотехником могло приниматься лишь за второй, а то и за последний, третий сорт, стбящий вполювину меньше первого...

Забросив уздечки за спину, я отошел от стана метров на двести и замер, напряженно вслушиваясь, как охотничья лайка, в окрестную тишь: не звякнет ли где-нибудь в каком-нибудь укромном лесочке на шее ботало у наевшегося досыта вожажка, которым к моей радости стал Спокойный, и теперь вместе с остальными лошадьми преспокойно дремлющего в утренних ранних сумерках. И мне повезло: в ближнем молодом березняке, через который протекал ручей с чистой, хрустальной и до того холодной водой, что аж зубы сводило, вдруг знакомобрякнуло раз, другой. А почему? Потому, что комарья в это утро носилось так густо, так плотно, что если провести в воздухе рукой, нельзя было не почувствовать, как они сослепу ударяются на всем лету в ладонь. Вот Спокойный, не выдержав их злых укусов, и мотнул резко несколько раз головой. Ну и молодец! Ну и умница! Я быстро подошел к нему сквозь траву, которая была мне выше пояса, сочную, густую, от только что выпавшей обильно серебристой росы сырую до невозможности, из-за чего и брюки, и куртка моментально вымокли так сильно, словно я совсем недавно перебрел, не зная броду, широленную реку. Проворно надев уздечки на лошадей и распутав им передние ноги, я уже через десять минут вернулся в стан, где на жарко горящем костре готовился нехитрый таежный завтрак. Привязав лошадей к высокому крыльцу дома за специально для этого вбитые в толстое бревно круглые железные скобы, за неделю поводьями отполированные до блеска, я огляделся: все члены бригады готовились к работе. Кто-то специальным молотком отбивал и оттачивал каменным брусом литовки, кто-то подтягивал ручным двухрожковым ключом гайки у конных граблей и другой техники, кто-то точил на ручном точильном станке сегменты, приклепанные к режущему полотну косилки. Лишь один Василий Иванович стоял в сторонке с папиросой во рту с видом человека, решавшего какую-то сложную задачу. А вот своего друга Георгия Балаева нигде рядом с домом я вообще не заметил. Подумал: "Наверно, решил с утра пораньше на паутов половить для засолки хариусов, ведь речка, богатая на эту замечательную рыбу, водящаяся только в исключительно чистой воде, протекала с каких-то ста метрах от стана".

Был Георгий, словно добрый молодец, сошедший со страниц русских былин, широкоплеч, под два метра ростом, с длинными, сильными руками, которыми, не на спор, а просто на потеху и зависть членам бригады, без видимых трудностей для себя мог запросто разогнуть подкову. Правда, имелся у него один небольшой изъян — говорил с легким заиканием, особенно когда впадал в расстройство или волнение. Но это совсем не мешало ему сыпать присказками по любому удобному случаю, а главное — с умыслом...

Волосы у него были темно-русыми, прямыми, намкнув под дождем или при купании в реке, свисали с головы, словно сосульки. Как у каждого человека, уверенного в своих словах и в своей силе, глаза его никогда не бежали по сторонам, смотрели прямо, будто играли с собеседником в игру: кто кого переглядит. В свои годы, далеко перешагнувшие за срединную молодость, он оставался бобылем, но время от времени для мужских утех заводил какую-нибудь сердобольную вдовушку — и ладно. Трудовой путь начал пятнадцатилетним мальчишкой, одолев восемь классов, в местном леспромхозе, но как только открылось в районе государственное охотничье хозяйство “Ленский”, сразу же пошел туда в качестве кадрового охотника, поскольку, живя с малых лет в таежном поселке, страсть как полюбил добывать всякого зверя и птицу. Не обходил стороной и озерную, и речную рыбалку, но, скорей ради выполнения плана, чем для отдохновения души. Имел, конечно, как всякий охотник, хорошую собаку — помесь немецкой овчарки и эвенкской лайки. Можно сказать, вывел прекрасного представителя новой породы промысловых собак. Дал своему псу кличку Смелый. И он ее достойно оправдывал: не одного медведя поднял из берлоги!

К нашей бригаде сенозаготовителей его ежегодно на время покоса прикомандировывали, чтобы добывать в тайге зверя, чаще всего сохатого, для нашего не очень-то разнообразного рабочего стола. Но все свободное время от охоты он с удовольствием, совершенно добровольно помогал бригаде в любом деле, какое только подвернется под руку. Особенно помощь Григория была неоценима в самой жаркой и тяжелой работе — стогометании. Высоченный, в легкой белой рубашке с длинными широкими рукавами навыпуск, в не менее широких темных брюках, туго затянутых кожаным ремнем, в домашних тапочках большого размера на ногах, чтобы пальцы зря от труднопереносимого сухого зноя не прели, с большим светлым носовым платком, повязанным на голове, он, сам некурящий, и в работе другим не давал дышать, и как заведенный все подавал и подавал, поддевая на вилы сразу не меньше, чем полкопны на стог, чуть ли не в руки укладчикам. А потом и вершителям — самым умелым сенокосчикам, поскольку от того, как стог будет надежно завершен и сверху придавлен листовничными лапами, зависела сохранность сена даже в самые проливные дожди.

Но вот, словно легок на помин, без каких-либо рыболовных снастей у костра появился и он. Я тут же подошел к нему:

— Григорий, а ты это куда запропастился?

— Чудак человек — до ветру ходил!

Я, словно полностью не расслышав его слов, переспросил:

— До какого ветра-то? Вроде тишь да гладь — Божья благодать кругом, только что-то небо мрачновато. Уж не к дождю ли?

— К нему, Ванек, к нему! И работы сегодня не будет...

И посмотрел в сторону тракториста Сергея, молодого парня ниже среднего роста, полного, с редкими светлыми волосами, с круглым невыразительным лицом, с покатыми женскими плечами, очень уж кривыми, как у правого кавалериста ногами, из-за которых казалось, что навстречу тебе идет не человек, а катится большой серый шар. По взгляду на Григория можно было понять, что он хочет лишний раз посмеяться над Сергеем, и сделал он это, чуть ли не нараспев произнеся: “Маленький дожджика — лентяям передышка!” Знал, что делал, ибо у Сергея трактор вечно был неисправен: то топливный фильтр засорен, и двигатель, густо дымя выхлопными газами, не мог набрать нужные обороты, то вдруг он проморгает резкое повышение температуры мотора — и мотор, словно обидевшись на такое к нему наплевательское отношение, выбрасывал, словно выстреливал звучным хлопком из блока через горловину радиатора вместе с крышкой всю воду. И делать нечего — надо бежать с ведром к ручью за новой, а это напрочь упущенное время! И когда — в самый разгар работы, когда от действий тракториста зависел трудовой успех всех членов звена! В общем, такого разгильдяя, как Сергей, еще надо было днем с огнем поискать. А вроде парень, полный молодых сил, здоровый, да к тому же семейный, кроме жены еще



успел в свои двадцать восемь лет трех мал мала меньше ребятишек завести. И пусть не о себе, так, казалось бы, о них надо дураку думать — с душой работать и, значит, больше зарабатывать денег на содержание семейного очага. Ан нет! Можно, конечно, с натяжкой сказать, что безоглядно пустил жизнь во всех отношениях, при любых обстоятельствах драгоценную, как паршивому псу под хвост!

И тут я вспомнил: когда еще, ни свет ни заря, шел на поиски коней, удивленно и озадаченно обратил внимание на то, что из-за самого горизонта на темно-синее небо медленно наплзали свинцовые тучи, и так плотно, что полностью взошедшее рассветное солнце никак не могло пробить их своими яркими золотистыми лучами. Воздух от избытка электричества стал настолько разреженным, что даже всей грудью дышалось трудно, как бы через силу. Вот из-за этих плотных туч и не рассветало, как обычно, стремительно — по всему небу, над всей землей. Вот откуда такое лютое нашествие с утра пораньше комаров и мошкеры — предгрозые их любимая пора. А между тем, тучи, надвигаясь друг к другу со всех сторон, в самом центре высокого северного неба соединились, накрыв землю одним сплошным волнообразным одеялом. По нему сверху прокатился в одну и в другую стороны гром, сверкнула зигзагообразная огненная молния и ударила в стоящую совсем рядом с домом Григория старую лиственницу с такой силой, что та мгновенно вспыхнула ярким пламенем и занялась жарким, трескучим пожаром. Все сенокосцы моментально побросали свои дела и, широко разинув от удивления рты, с силой выпучив враз округлившиеся глаза, а верней сказать, глазища, с замершими сердцами смотрели на чудо природы. И не сразу заметили, как на их непокрытые головы упали первые капли, потом вторые, третьи — и дождь, как через сито, мелко, но уверенно засеял.

— Ванек! — окликнул меня Григорий, а когда я, все еще находясь под впечатлением яркого природного явления, подошел к нему, попросил: — Ты бы сходил к бригадиру, предупредил, что уходишь со мной в тайгу, уж больно соскучился я по ней... Идет?

— Схожу, впрочем, зачем ходить-то — он вот, в трех шагах стоит! — с радостью произнес я, ибо самому вдруг страсть как захотелось побыть наедине с матушкой-природой, скрывающей в своей таежной глубине не только до сих пор не разгаданные тайны, но и добрые занятия в виде озерной рыбалки или охоты на водоплавающую и боровую дичь. Да я, так же как мой старший, умудренный жизнью товарищ, любивший во время многочасовой ходьбы по еле видимым таежным тропам молча побыть наедине со своими мыслями, почти всегда помогавшими разрешить тот или другой вопрос, неожиданно встававший передо мной с такой категоричностью, что становился не то что судьбоносным, но очень и очень важным, хотя бы потому, что отсутствие решения его могло принести мне глубокую печаль и боль из-за моего бессилия...

Василий Иванович, мужчина среднего роста, предпенсионного возраста, чаще всего ходил в потертой кепке, из-за чего не всегда можно было определить точно цвет его волос, одетый в такой же видавший виды, пиджак, в одних и тех же кирзовых сапогах, которым, казалось, сносу нет. Менялись на нем только брюки-галифе, словно однажды на каком-то блошином рынке он закупил их впрок до конца дней своих... По праву считался в родной деревне мастером по пошивке теплых унтов из лосиных и оленьих камусов, как женских, так и мужских. Получались они намного теплей валенок, что зимой, в пятидесятиградусные морозы, было очень важно. Короче говоря, заказов у мастера, особенно от женской части, было хоть отбавляй. Тем более что водку он пил редко, можно сказать, исключительно по великим праздникам. А вот от чифирия, к которому пристрастился неведомо когда и при каких обстоятельствах, медленно, но верно загоняющего сердце, отучить его было невозможно.словно не меньше десяти лет в сталинские суровые времена отсидел в колымских лагерях. Но больше всего он славился на весь район знанием сельскохозяйственной техники — и действительно, разбирался в ней настолько досконально, что мог на спор без каких либо заводских инструкций и чертежей в несколько дней собрать технический агрегат, прежде

не выпускавшийся отечественной промышленностью. Только дай ему в помощь опытного, исполнительного слесаря да оставь в полном покое, — именно при таких условиях он, практически не выпуская папироску изо рта, дымя ей налево и направо да в глубокой задумчивости почесывая коротко подстриженный затылок, при этом надвинув кепку чуть ли не на самые глаза, в глазах односельчан проявлял чудеса изобретательности и смекалки. Свою небольшую руководящую должность бригадира сенокосцев с лихвой оправдывал, поскольку на горе тому же непутевому трактористу Сергею, в то лето оказавшемуся под его непосредственным началом, психологию людей знал хорошо. Если вдруг тот по причине своего самонадеянного характера начинал несправедливо, скажем прямо, ерепениться: “Мол, куда это вы меня гоните, на что подталкиваете, дорогой бригадир? На нарушение техники безопасности! Так я быстро вас на место поставлю: напишу жалобу о вашем самоуправстве в управление на имя главного инженера — и вас как не было в бригадах! А в болото я, так и знайте, не полезу!” — к чести Василия Ивановича, он с ним никогда в спор не вступал, а начальственным строгим голосом парировал:

— Велика беда! Нашел чем пугать! Эй, Ванек, где ты?

Я знал, что между моим отцом и бригадиром существовала договоренность, о том, что я формально в звене числюсь рабочим, а на самом деле, несмотря на неимение соответствующих прав по причине малолетства, — в качестве резервного тракториста. Поэтому, услышав требовательный зов Василия Ивановича, тотчас отзывался:

— Здесь я!

— Значит, дело такое, Ванек: пусть наш законник немного отдохнет, а ты побыстрей садись-ка за баранку да рычаги и давай езжай в конец поля, там надо как можно ближе к самой озерной воде траву скосить — уж больно жалко такую хорошую да пригожую оставлять! Справишься?

— Постараюсь!

— Вот и ладно, старайся, это тебе в будущем верную службу сослужит, так и знай! — заключал бригадир и уходил продолжать прерванное дело.

Легко сказать: траву на болотине, под ногами-то ходуном ходящую, того и гляди как бы по пояс в нее не провалиться, скосить! Тут мозги небольшие включать на полную катушку надо! Я и включил: чтобы увеличить как можно больше площадь опоры тракторных колес, особенно передних, вдвое уже, чем задние, на зыбкий грунт, почти до самых колесных ободов спустил воздух из всех четырех резиновых камер и осторожно, во избежание прокрутки покрышек с их повреждением, не спеша, словно подкрадываясь к месту косьбы, а на самом деле обдумывая, как бы ловчее начать работу, покатил... Зато, подъехав к берегу озера, стал уверенно, круг за кругом скашивать высокую — по пояс — и густую, как конская грива, сочную траву — действительно, одно гляденье! — и все ближе и ближе подбирался к самой воде. От физического напряжения и опасения, как бы ненароком не сплзти в озеро или не провалиться в болотину, сердце билось так сильно, что я четко-четко чувствовал, как оно толкалось в ребра, будто хотело их проломить и вырваться наружу; обильный пот сначала выступил крупными солеными каплями на лбу, а потом и вовсе потек ручейками по всему телу, застилал глаза. Тем не менее я был так охвачен сложным и опасным процессом косьбы, что потерял счет времени. Наконец, закончив работу, перевел дух, отер свежей ветошью лицо и подъехал к стану, с облегчением заглушил двигатель. Василий Иванович, широко улыбаясь, широкими шагами подошел ко мне, и, как взрослому, пожал крепко, по-рабочему руку:

— Молодец, Ванек! Как лихо управился с заданием! Эх, было б тебе не пятнадцать, а все восемнадцать лет да имел бы ты права тракториста, я бы этого Сергея никогда в бригаду не взял! Ну да ладно! Раньше времени говорить — все равно что в ступе воду толочь. Отдыхай!

— Нет, Василий Иванович, мне еще надо тракторные баллоны обратно подкачать до соответствующей нормы, ведь Сергей наотрез откажется это делать, тем более, что не он, а я стравил почти весь воздух!

— Ты, Ванек, прав — валяй!

И я, взяв из инструментального железного тракторного ящика, предусмотренного заводскими конструкторами, ручной автомобильный насос, с его помощью в течение часа, а то и полутора, качал баллоны. Работа нетрудная, но больно уж нудная и из-за частоты движений рук и сильного напряжения мышц спины и позвоночника пот вышибающая не меньше, чем тяжелый труд на стогометании!

Управлять трактором, как самый заправский машинист, я, можно сказать, научился по случаю, связанному с неожиданным приездом к нам из Якутска старшего брата моей матери, Виктора Ленских. Из их родственных разговоров выяснилось, что причиной, заставившей его покинуть на неопределенное время семью, явилась крупная, чуть ли не до полного развода с женой, ссора. Для меня в этом ничего удивительного не было, поскольку родной дядя временами непременно уходил в недельный, а то на больший срок, самый банальный запой! Еще когда наши семьи жили в одном поселке Капитоновка, ни увещевания моей матери, приходившей на помощь супруге брата, ни страх быть уволенным с работы за систематические прогулы не имели никакого воспитательного успеха, словно залетали брату в одно ухо только затем, чтобы тотчас вылететь из другого... Во время дядиногo приезда мы, потеряв в весеннее наводнение дом, который был сначала огромными льдинами, грузно наполнившими на берег, как мощным бульдозером сдвинут с бетонного фундамента, а потом, подхваченный большой, называемой в народе черной водой, и вообще унесен в сторону моря Лаптевых, вынуждены были переехать в такой же небольшой двухкомнатный, правда, стоящий на самом крутом берегу, а значит, недоступный никаким наводнениям брусовой дом, в качестве дополнительного утепления оштукатуренный не только внутри, но и снаружи. Нашей большой семье в нем было тесновато, к примеру, постоянное спальное место имели только родители в отдельной комнате, мы с младшим братом Николаем ночевали в гостиной на раскладном диване, сестры — на дюралевых раскладушках, одна в коридоре, другая на кухне, а самый младший братишка Валера — в своей кроватке, почему-то очень часто переносимой то в гостиную, то в родительскую спальню... В общем, места для дяди Виктора в доме не находилось, но поскольку на дворе стояло начало жаркого лета, то он без каких-либо обид нашел себе ночное пристанище на чердаке, где, надо сказать, неплохо устроился, огородив закуток фанерными листами, земляной “пол” застелив обрезными досками, прямо на которых и спал в выделенном сестрой теплом ватном спальном мешке. Как-то я, поднявшись к дяде, огляделся и нашел чердак очень даже располагавшим к романтической жизни. Во-первых, никто не мешал ни днем, ни ночью предаваться всевозможным размышлениям, мечтам. Во-вторых, из открытого слухового окна, выходявшего прямо на Лену, можно было часами любоваться неоглядными, живописными речными просторами, ну а в-третьих, удобней места для загорания, чем двухскатная кровля, вообще нельзя было найти даже на песчаном пляже, хотя бы потому, что до него еще надо было по зною добираться. И, выпросив у матери еще один спальник, я переселился аж на все лето к дяде, чему он конечно же был рад, хотя слыл человеком замкнутым, нелюдимым.

Сразу по приезду трудоустроиться в совхоз или в какую-нибудь другую поселковую организацию дядя Виктор не успел, поскольку, как только среди жителей распространился верный слух, что появился прекрасный печник, он за короткое время получил столько заказов на ремонт печек и кладку новых, что порой, можно сказать, дневал и ночевал с мастерком в руке... Кроме специальности печника мой дядя еще был первоклассным специалистом по ремонту двигателей, какой бы модели они ни были. В отделении совхоза своих мастерских не существовало, поэтому вышедший из строя агрегат надо было везти за сто километров в управление совхоза, находившееся в районном центре, или договариваться с начальством местного лесоучастка провести весь необходимый ремонт в их моторном цехе, кстати, по тем временам оборудованном по последнему слову техники. Вот мой отец и уговорил брата жены переключиться на ремонт совхозных двигателей автомашин и тракторов, чтобы как можно полнее и быстрее подготовиться к сенокосной страде.

Несмотря на то что работа слесаря даже самого высокого — шестого разряда не позволяла получать тех денег, которые жители охотно платили за печное дело, дядя Виктор, видимо, ведомый родственными чувствами, откликнулся на просьбу шурина, моего отца. И на новом рабочем месте, оборудованном прямо под открытым небом лишь одной высокой металлической рамой, с подвешенным к верхней перекладине ручным подъемным механизмом, при помощи которого снимался с трактора напрочь сломавшийся двигатель, да небольшим слесарным верстаком с литыми из стали тисками, незамедлительно приступил к ремонту первого трактора. Как сейчас помню, это был одноцилиндровый, двадцатисильный Т-16, компактно спроектированный, практически незаменимый на сенокосе, ибо его сцепное устройство — фаркоп позволяло использовать практически всю прицепную сенозаготовительную технику, начиная от обыкновенных волокуш до сложных гидравлических граблей, а с появлением стогометательного механизма, похожего на огромные лосиные рога, и его! Все свободное, как правило, вечернее время от ухода за парею сестры Натальей за поздней капустой на площади целого гектара и, конечно, по воскресным дням, я вертелся вокруг дяди Виктора. Сначала просто из-за любопытства, потом из желания самому вникнуть, как мне казалось, в сложнейший технический мир, словно окутанный разными, непосильными моему юношескому разуму многочисленными тайнами. Заметив это, ни слова не говоря, как само собой разумеющееся, дядя Виктор стал мне подробно, а главное, разбирая какой-нибудь агрегат, наглядно объяснять не только его устройство, но и принцип работы.

Однажды сразу после обеда к нам на единственном в отделение колесном тракторе “Беларусь” первой модели лихо подкатил Леонид Петров, совсем недавно закончивший школу механизации. Был он низкого роста, с покатыми “женскими” плечами, несколько для своих молодых лет грузноватым, зато с белозубой улыбкой и искрящимися веселыми глазами. Оставив дизель работающим, он буквально выпрыгнул из-за баранки и, подойдя к дяде Виктору, уважительно с ним поздоровался, а когда достал пачку папирос, то и предложил перекурить. Но вместо того, чтобы принять обычное среди механизаторов приглашение, мой родственник, к тому времени уже снискавший славу первоклассного, можно сказать, незаменимого моториста во всей округе, лишь кивком головы ответил на приветствие и ни слова не говоря, подошел к “Беларуси”, внимательно вслушался в работу дизеля и, резким, недоложным взмахом руки подозвав к себе Леонида, стал сердито ему выговаривать:

— Это что же ты за вверенной тебе государственной собственностью не следишь, относишься к ней спустя рукава?!

— Как не слежу? — обидчиво ответил незадачливый тракторист. — Еще как слежу! Можно сказать, пылинки с него после каждого рабочего дня сдуваю, заметьте, в ущерб своего личного времени!

— Вот-вот, только пылинки и сдуваешь! А что творится с двигателем — не удосужишься узнать! Если у самого мозгов не хватает, то не поленился бы спросить у разбирающегося в технике человека!

— А что двигатель — работает как часы!

— Да нет, ошибаешься, он у тебя на ладан дышит! — и, понимая, что Леонид оказался недоучкой, а значит, и спорить с ним бесполезно, уже спокойно заговорил: — Во-первых, топливный насос надо срочно регулировать, поскольку первая плунжерная пара западает и, как следствие этого, в цилиндр не попадает необходимого количества горючей смеси, в результате при большой нагрузке двигатель не сможет выдать полную мощность. Во-вторых, коромысла газораспределительных клапанов разболтались, так гремят, что хоть уши затыкай! А ты говоришь, что с трактором полный порядок! Давай не раскуривай, а езжай отсюда напрямик в гараж и устрани все указанные мной неисправности, пока на какой-нибудь отдаленный сенокосный участок не увистал. С такими неполадками много и долго не поработаешь, и себя, и всю бригаду подведешь в самый неподходящий момент! Я бы тебе помог, но самому срочно надо закончить ремонт Т-16, поскольку на очереди еще и автомашинка стоит, ну а если у тебя и в самом деле знаний и опыта не хватает, обратись к механику...

Этот случай настолько приподнял дядю Виктора в моих глазах, что если прежде из его советов я что-нибудь упустил, то теперь ловил каждое “ремонтное” слово в надежде со временем научиться мотористскому делу. После окончания ремонта наступали обязательные ходовые испытания, почему-то очень не нравившиеся дяде, по крайней мере, он твердо просил меня занять водительское место, сам садился рядом и указывал, какие необходимо произвести действия, чтобы машина или трактор двинулись с места. А уже на ходу следовали другие распоряжения, выполнение которых позволяло с каждым разом управлять техникой все увереннее, все быстрее. Вот таким образом я и стал, можно сказать, в четырнадцать лет трактористом, только без соответствующих “корочек”.

Зная к себе доброе отношение бригадира, я незамедлительно обратился к нему с просьбой Георгия и, конечно, без лишних вопросов получил согласие. А получив, метнулся соколом в дом собираться в тайгу, как сказал старший товарищ, дня на два. Положил в рюкзак еды на двое суток, туда же сунул две пачки патронов: и к самозарядному ружью двенадцатого калибра, и пятизарядке-“тозовке”, можно сказать, малой винтовке. Надел непромокаемую из прорезиненной ткани куртку с глубоким капюшоном, болотные сапоги, очень неудобные при длительной ходьбе, но необходимые в дождливую погоду и для доставания упавшей в озеро дичи, и выбежал на крыльцо. Георгий, облокотившись крепким, мускулистым плечом о мощный, украшенный крупной резьбой, когда-то, в старину, бывший якутским национальным не только ритуальным, но и практичным сооружением серге (коновязь), к моему удивлению, уже в полном охотничьем таежном снаряжении меня поджидал. Его верный кобель по кличке Смелый снежного окраса, по одному виду хозяина поняв, куда и зачем он собирается, радостно кружился вокруг него и подпрыгивал, норовя лизнуть в лицо. Я повелительно подозвал свою немецкую овчарку Мухтара, который хоть и не имел охотничьих навыков, но команды “Фу!”, “Фас!”, “Ко мне!”, “Лежать!”, “Нельзя!” и другие выполнял беспрекословно, а “Фас!” с каким-то особым рвением, словно в его венах текла и волчья кровь. Куда бы — в лес ли, в поле или в полноводную реку Лену я, как можно дальше, ни бросал палку, предварительно дав псу ее обнюхать, он, получив любимую команду, пулей летел ее выполнять. Выбравшись из воды, прежде чем поднести и положить к моим ногам “добычу”, он почему-то в обязательном порядке встряхивался всем телом так сильно, что водяные брызги веером летели далеко во все стороны.

Не знаю, почему, но он до остервенения не любил пьяных мужиков, частенько по выходным дням, а порой и после трудового дня, словно в ознаменование вечернего отдыха, поодиночке и в обнимку шлявшихся по поселковым улицам с песнями, исполняемыми, конечно, кто в лес, кто по дрова, зато во всю глотку. Когда, взрослея, он стал все больше и больше проявлять природную злость, я посадил его на цепь, а цепь с помощью кольца пустил по проволоке, туго протянутой через всю ограду, огороженную метровым штакетником. Мухтар, бегая на расстоянии цепи в какой надо конец, охранял не только дом, но и все хозяйственные постройки. И вот однажды во двор случайно забрел в доску пьяный незнакомый мужик, скорее всего, работавший в леспромхозе. Мухтар, как всякая хорошо выдрессированная собака, без команды с ходу и с лаем не набросился на него, а, наоборот, ощетинив на загривке шерсть, поджав саблеобразный хвост, оскалил передние клыки, сердито зарычав, не оглядываясь, отступил немного назад, словно давая возможность пьянице опомниться и без всяких для себя печальных приключений покинуть двор. Но не тут-то было! Мужик отступление собаки ошибочно принял за признак слабости и, что-то несвязно бормоча себе под нос, еще ближе подошел к псу. Тогда, резко пригнувшись, Мухтар, как сжатая до упора стальная пружина, выстрелил всем своим телом прямо в мужика, широкой грудью сбил его с ног, встал передними лапами на него и, еще сильней оскалившись, угрожающе зарычал, готовый в любой момент вцепиться в горло! Мужик от страха мгновенно протрезвел и на весь двор завопил, прося о помощи, благим матом. После этого случая, во избежание непоправимого несчастья, пришлось в конце двора для содержания верной овчарки

делать специальный вольер из столбов, обтянутых металлической сеткой и устройством на случай непогоды — тесовой, легкой односкатной кровлей.

Едва Мухтар подбежал ко мне, преданно заглядывая в глаза и виляя саблеобразным красивым хвостом, Георгий, как всегда, не сообщая мне куда конкретно мы отправляемся в тайгу, лишь весело сказал:

— Ну что, Ванек, пошли!

— Пошли, Георгий! — воодушевленно ответил я и следом за своим старшим товарищем зашагал к лесу напрямик через алас, по росе, матово сверкавшей на ещё не сгребённом сене. И теперь это сено, пока не пройдет обложной дождик, пока оно по новой не высохнет, из-за потери каротина сильно потемнев, выше, чем за третий сорт совхозная комиссия не примет, а то и вообще посчитает внесортным... Жалко. До слез жалко... Сколько сена вот так, из-за дождливой непогоды если не пропадает, то становится едва пригодным для скармливания скоту!.. Но едва мы вошли в лес, как веселые птички трели, лившиеся чуть ли не с каждого дерева и куста, мигом перестроили ход моих мыслей на оптимистический лад — и я, ритмично скрипя болотниками, весело и бодро, шаг в шаг, пошел вслед за старшим товарищем, чья широченная спина, как мятник, покачивалась перед моими глазами уже на достаточном расстоянии впереди, и чтобы вообще не отстать, я ускорил и без того быстрый шаг до предела.

Георгий до конца нашей дружбы оставался для меня загадкой за семью печатями, особенно в неоглядной тайге. Вот и в тот начинающийся дождем день он не взял с собой ни компаса, ни карты — шел по едва заметным, вдавленным в густой мох тропинкам, как в родной Турукте по улочкам-закоулочкам, без остановки. Я только успевал уворачиваться от длинных и гибких ветвей деревьев, среди которых вилась тропка, и поворачивать то в одну сторону, то в другую. Правда, иногда шли и по прямой, но исключительно в том случае, если выходили на прорубленные геологами еще в сталинские времена просеки, уже наполовину заросшие кустарником да молодым березняком. Наши собаки, давно привыкшие друг к другу, бежали впереди, метрах в ста, на бегу успевая принохиваться и прислушиваться ко всему, что происходило в радиусе километра, не меньше. Иногда они рядом с тропой пробегали между деревьями с опущенными головами, что-то с силой вынюхивая. Интересно! Ты, человек, идешь и ничего кроме своих да напарника шагов не слышишь, за исключением звонкого пения птиц да шныряющих под старой листвой лесных мышей, а собаки, эти верные спутники человека, своим обонянием и слухом словно растворяются в окружающем мире, где до всего необычайного у них есть дело.

А обложной дождик, как ему и положено от природы, все моросил и моросил, и, словно замороженный им, Георгий, не оглядываясь, обращая внимание только на поведение бежавших впереди неутомимых собак, все шел и шел, широко переставляя в болотных сапогах с завернутыми вверх голенищами крепкие, прошедшие только одному Богу известно сколько таежных километров мускулистые ноги. Хотя золотоносного солнца за свинцовыми тучами, затянувшими весь небосвод от края до края, не было видно, по его слабому отсвету, словно идущему в небе параллельно нам, я навскидку определил, что время перевалило за полдень. И, не выдержав, нарушил долгое молчание:

— Георгий! Ты, часом, не устал?

— На пустые вопросы не отвечаю! — услышал я в ответ.

— Ну, тогда, может, проголодался?

После непродолжительного молчания слышу:

— Хороший вопрос! А главное — нужный!

— Так обедать-то где будем?

— А вот как дойдем до круглого озера, так сразу!..

И снова на целых полчаса воцарилось твердое молчание, прервать его я уже не решался, боясь показаться старшему товарищу, у которого мне еще нужно было учиться и учиться таежным, да вообще жизненным премудростям, нытиком и слабаком. Вскоре я заметил, что мы круто свернули с просеки, как раз в том месте, где стояла возведенная из бревен, довольно высокая

вышка, видно, служившая для топографов каким-то ориентиром, и пошли по узкой, еле видимой звериной тропке, петляющей, как убегающий от лисичи заяц, между столетними лесинами и идущей под едва заметный уклон. Вдруг, словно по мановению волшебной палочки, тайга разом, как огромная шуба, распахнулась перед нами, и мы вышли прямо на высокий берег небольшого, но действительно очень живописного круглого озера — хоть циркулем измеряй! — с берегами, поросшими темно-зеленой осокой, с листвою и хвоей, плавающей на водяной, слегка рябой от падающих дождинок, можно сказать, зеркальной глади. И вдруг, словно из-под наших ног, из густой осоки с шумом, суматошно махая клинообразными крыльями, взлетела парочка крупных селезней и понеслась что есть сил в дождливую небесную звесь. Но, набрав необходимую высоту, плавно развернулась и прошла на бреющем полете вокруг озера, словно проверяя, надолго ли нагрязнули незваные, опасные гости. Мне так захотелось вскинуть ружье и, поймав на мушку самца, выстрелить! Но Георгий, словно почувствовав мой охотничий азарт, сердито бросил:

— Еще настреляешься! Сам же на еду напрашивался! Так топай за хвостом, а я пока таган поставлю да воды в чайник зачерпну. А бересту сухую не ищи, время не трать, я с собой ее захватил. — И, развязав рюкзак, вытащил туго свернутую в трубочку верную растопку. Принеся из ближней еловой чащи целую охапку хвороста, я разломал его через колено на недлинные части, стоямя под углом прислонив их друг к другу, построил таким образом что-то очень похожее на маленькую деревянную пирамиду и сунул в нижнюю часть ее уже горящую в моих руках бересту. Языкастый огонь быстро перекинулся на хворост, и тот, потрескивая, сначала белесо задымил, словно не желая загораться, а потом разом вспыхнул, как порох, жарким пламенем! Георгий повесил чайник с озерной водой на листовенничную сырую палку тагана, постелил рядом с костром газету и стал на нее раскладывать походный немудреный обед, состоящий из масла, черного хлеба, пары луковиц и банки говяжьей тушенки, которую тут же острым якутским ножом за несколько ловких движений открыл. Увлечшись разжиганием костра, я и не заметил, как обе собаки убежали куда-то в лес, и уже было хотел об этом сказать Георгию, как недалеко, в еловой чаще услышал знакомый заливиственный, звонкий лай. Посмотрел в сторону расшумевшихся псов, готовый бежать с ружьем в ельник, но старший, опытный товарищ опять меня остановил:

— Ванек, ты что, первый раз с собаками в тайге? — И сам же за меня ответил: — Далекое не в первый! А все никак не научился по характеру лая определять, кого — зверя или птицу подняли псы! Надо повнимательней прислушиваться к собачьему лаю. Так-то!

— Георгий, я просто хотел посмотреть, что так увлекло собак.

— Да я тебе не сходя с места скажу. Боровая дичь! Скорее всего, целый глухариный выводок во главе с самим отцом — большим, с перьями черного отлива, с горящими красными глазами глухарем. Время приближается к осени, все глухарята уже давно встали на крыло, и как только собаки их обнаружили, они дружно взлетели на высокую листовенницу и сверху смотрят на наших четвероногих друзей, словно насмехаясь: “Ну что — локоть близок, да не укусишь!” Ты, Ванек, чем зря убивать время в беготне по лесу, лучше подбрось-ка в чайник заварки, а то кипяток уже так бурлит, что вот-вот польется через край! — закончил свой поучительный монолог Георгий, а сам повернулся в сторону лая и громко, со строгостью в голосе скомандовал:

— Смелый! Фу! Ко мне!

Лай тут же послушно стих, и обе собаки, вывалив языки, через минуту улеглись, поджав задние ноги, а передние, наоборот, вытянув вперед, рядом с нами, искоса поглядывая на разложенную на газетке пищу. Видать, проголодались не меньше, чем мы, но ни писком, ни просительным вилянием хвоста не подавали хозяевам виду. Между тем мы с другом, опять же совершенно молча, зато быстро подкрепившись, стали собираться идти дальше. Наконец Георгий, отломив от булки кусок, бросил его своему псу, тот на лету жадно схватил, даже клыками не клацнув. Я же, прежде чем дать своему любимцу Мухтару оставшийся от обеда ломоть, обильно намазал его

сливочным маслом. Это не осталось незамеченным, и Георгий, продолжая укладывать рюкзак, не глядя на меня, недовольно бросил:

— Балуешь пса, ох, балуешь, а зря... — но через мгновение уже потеплевшим голосом продолжил: — Чего скрывать, я в твои годы по отношению к верным собакам был таким же!

Эх, если бы я мог хотя бы на сутки предвидеть собачьи судьбы, то своему Мухтару не только намазал бы маслом ломоть хлеба, но еще бы сверху положил большой кусок говяжьей тушенки!..

— Ну что, Ванек, тронулись? — бодро спросил меня Георгий.

— Тронулись! — не менее бодро ответил я.

Георгий, не раздумывая и не оглядываясь — иду я следом или нет, опять пошел по только ему да зверям известной травяной, усыпанной коричневыми прошлогодними еловыми иголками тропке. Я оглядел пасмурное небо с целью хоть примерно определить время, но никак этого сделать не мог и обратился к Георгию:

— Интересно, а сколько часов мы уже в дороге?

— Думаю, не больше пяти!

— А как ты это определил?

— По тяжести в ногах!

— А-а!..

И я на время замолк, подумав: “А ведь он верно подметил, только, что-бы безошибочно пользоваться его методом, надо много, очень много пройти таежных километров!” Снова заговорить совершенно неожиданным образом меня заставили собаки. Всю дорогу дружно, можно даже сказать, весело, они бежали впереди нас, ни на мгновение не останавливаясь, а тут пробегут метров двести, морды вскинут вверх, жадно понюхают таежный, настоянный на листьях, смоле и хвое прохладный и сырой воздух и дальше перебирают лапами, потом опять неожиданно остановятся, словно кто-то невидимый их за задние ноги схватит. И так повторялось с ними до тех пор, пока они окончательно не остановились, и чем дольше внюхивались в тайгу, тем крепче прижимали хвосты и начинали жалобно поскуливать. Словно чувствовали какую-то большую, грозившую им опасность. Их тревога передалась и мне — я невольно несколько раз оглянулся, но за мной в начавших густеть вечерних сумерках кроме деревьев, кустов можжевельника да мха ничего не было видно. С целью снять с души тревогу, я снова заговорил:

— Георгий, а что с собаками-то творится? Не видишь, что ли?

— Вижу, Ванек, вижу! Это они зверя чувят, который им не по зубам.

И так это спокойно, буднично сказал, что я стал успокаиваться, но на всякий случай взял в руки свою, как отец иногда на охоте говорил, двенадцатого калибра пушку и передернул затвор. Услышав металлический звук, Георгий впервые за всю дорогу сердито оглянулся:

— Ты что ружьем балуешься? Ведь за мной чуть не впритык идешь, а если вдруг споткнешься? Тропинка-то вон какая: то камень, то ветка, то кочка — упадешь, а, падая, сам не поймешь, как на спусковой крючок нажмешь. Хорошо, если заряд в сторону уйдет, а если мне напрямик в спину — что тогда?.. Сейчас же поставь ружье на предохранитель!

И пошел к стоящим, тихо скулящим собакам. Я, как привязанный к нему, — следом. Едва мы подошли, как каждая из них прижалась боком к бедру своего хозяина и подняла голову, словно спрашивая, что делать. Георгий потрепал холку Смелому, приговаривая:

— Ты что это меня позоришь? Какого зверя испугался, не скажешь? Ладно, сам знаю!.. Давай, успокаивайся — скоро сумерки перерастут в самую что ни на есть непроглядную темень. — И, уже повернувшись ко мне, продолжил: — Благо, что почти пришли! — И показал мне вскинутой рукой в сторону уже еле различимого в сумерках низкорослого сосняка:

— Видишь, в нем что-то маячит?

Честно говоря, я то ли от сильной усталости, буквально валившей с ног, то ли от только что пережитой тревоги ничего, кроме сплошного леса, маячившего впереди, не увидел, но уверенно ответил:

— Вижу!



— Знай: это укромное охотничье зимовье! В нем и заночуем!  
“Слава тебе, Господи!” — подумал я и зашагал как можно быстрее.

Зимовье оказалось старое, неизвестно кем и когда срубленное из толстых сосновых бревен. Показалось мне, как старуха столетняя, сгорбленным, со стенами, обросшими сырым скользким мхом. Кровля, устроенная из надранной лиственничной коры, позеленела от времени, но дождевую влагу не пропускала. В самом зимовье стояла походная железная печурка, с вложенными в топку сухими березовыми поленьями. Георгий нырнул в темный угол, достал из него коробок спичек и наполовину расплавленную свечку. Зажег ее и поставил на подоконник маленького окошка, больше похожего на крепостную бойницу, и обратился ко мне, заметно повеселевшему оттого, что наконец-то хоть какая-то есть крыша над головой:

— Я сбегая к ручью за водой, а ты берестой растопи печь, да поудобней устраивайся отдыхать, ночь в тайге всегда долгая... — И, задев за притолоку низкой, чуть выше пояса человека, дощатой, но обитой мешковиной двери, глухо звякнул пустым, сплошь закопченным на костре чайником. Когда чай поспел, на скорую руку перехватили немного еды, поскольку от страшной, навалившейся как огромный камень усталости есть не хотелось. Конечно, не забыли дать по куску хлеба оставленным снаружи зимовья собакам и улеглись спать на устроенные вдоль стен страшно скрипящие то ли лавки, то ли нары, шибко смахивающие на лагерные, не раз виденные мной в бараках, когда мы жили под Якутском. Заснул я не сразу, все никак не мог отделаться от видений: то перед глазами сплошную лентой проплывали извилистые, едва приметные тропинки, то виделись встревоженные морды собак. Но усталость напирала, и я сдался: погрузился в крепкий, здоровый сон.

Проснулся довольно поздно с ощущением, что сполна не отдохнул, тело, особенно ноги и поясницу, ломило. Время суток определил по тому, что, несмотря на небольшое оконце-бойницу, в зимовье было светло, и это позволяло мне хорошо видеть, как через оконное стекло вливался бело-серебристый свет. С закопченных стекол оконной рамы дождевые капли пропали — видать, еще ночью закончился дождь. Георгий, по выработанной за многие годы таежной привычке рано проснувшись, негромко шумел за стеной, на улице. Сладко, как в недалеком детстве, зевнув и потянувшись, я решил вспомнить хоть один сон, но как ни напрягал память, не вспомнил. Тогда быстро вылез из спального мешка и соскочил на мшистый, но за ночь от печки нагретый пол и вышел на воздух. В нос ударил свежий, переполненный чистейшим озоном, еще влажный, но прохладный, бодрящий воздух, от которого, словно от бражки, голова слегка пошла кругом. Невольно резко мотнул головой и посмотрел на небо — оно хоть еще и было сплошь затянуто тучами, но вконец заплакавшимися — светлыми настолько, что они почти не мешали всходящему солнцу сиять во всю мощь — тепло, золотисто, весело! А поднимающийся от низин все выше и выше клубящийся, легкий туман предвещал на весь день погожую погоду. Георгий стоял, склонившись над набравшим силу, ярко, с треском горевшим костром, держа в руке раскрытую банку свиной тушенки. В пяти метрах от него весело журчал водой, холодной до зубной боли, словно от радости подпрыгивая на камешках, ключевой ручей. Я, не раздумывая, быстро скинул с себя рубаху с майкой, подбежал к ручью, оперевшись руками о плоские камни, прямо из него напился, потом до самого пояса, повизгивая да охая, помылся. Схватил лежащее на камнях небольшое махровое полотенце Георгия и стал растирать не только грудь, спину, но и руки с лицом, пока их не охватил жар. Потом острым взглядом, выбрав поровней песчаную, с редкой, переливающейся влажными боками галькой площадку, быстро отжался на ней шестьдесят раз, а увидев неподалеку сосну с растущей почти перпендикулярно к стволу на трехметровой высоте крепкой веткой, подбежал, ухватившись цепко за нее руками, подтянулся двадцать раз, затем, расслабившись, повис, как можно сильнее растягивая позвоночник. Растянул, прыгнул на землю и почувствовал во всем теле такую бодрость и упругость, что был готов даже на голодный желудок к любому самому тяжелому делу. Однако Георгий уже разливал по алюминиевым кружкам свежесваренный чай, и мне ничего не оставалось, как

накинуть на плечи рубаху и присоединиться к нему. Завтракали не спеша, тщательно пережевывая каждый кусочек пищи. И, словно по навету утвердившейся привычке, молчали, хотя лично у меня из-за той же необходимости обдумать предстоящий день причины для этого не было. Поэтому, едва утолив голод, вновь первым нарушил молчание я:

— Георгий! Не скажешь, пожалуйста, где мы сейчас находимся и как далеко от сенокосного стана?

— Как ни сказать — скажу! Во-первых, от наших товарищей по труду мы с тобой оттопали, думаю, не меньше тридцати километров. Место, где с таким удовольствием на свежем, чистейшем как горный хрусталь, воздухе, под пение птиц подкрепляем силы, называется Лебединое озеро! Любопытство твое я, Ванек, удовлетворил?

— Конечно же, нет! Сколько вокруг ни смотрю, никакого намека хоть на какое-то озеро не обнаруживаю, будто со сна ослеп!

— Ты, Ванек, не видишь это прекрасное озеро потому, что еще вчера оно осталось у нас с правой стороны по ходу. И понятно, что в поздних сумерках, в тревоге, передавшейся тебе от собак, ты, как ни смотрел по сторонам, выпучив глаза, его не заметил. Но дело легко поправимое! Во-первых, ради него мы сюда и пришли, а во-вторых, до него рукой подать. Оно начинается почти сразу же вон за той сосновой опушкой! — И Георгий рукой показал, где именно. Действительно, как я прикинул, до опушки со стоящими на ней тремя одинокими медно-золотистыми соснами с густыми раскидистыми кронами было не больше, чем сто метров. Но мое любопытство только набирало силу:

— Где находится озеро, мы разобрались! А скажи, почему оно называется Лебединым и каким таким природным чудом является?.. Ведь от нечего делать мы бы с тобой в обложной дождь столько часов подряд не били нещадно о камень свои ноги. Не так ли?

— Ванек, ты угадал, это озеро действительно считается природным чудом, по крайней мере я так считаю. Вряд ли еще где на нашем Севере найдется такое большое скопление практически всех видов водоплавающих птиц — от обыкновенного кулика с серым чирком до царственного лебедя, которого когда-то эвенки на свой лад называли стерхом! И поскольку озеро в какой-то мере проточное: в него вбегают и из него берут свое начало десятки ручейков, подобно тому, у которого мы с тобой сейчас разговариваем, а из дна бьют уж не знаю сколько ключей, озерная вода настолько прозрачная, что, выплыв на самую середину, можно спокойно видеть песчано-каменистое дно на глубине восьми-десяти метров! А разнообразной рыбы, особенно карасей, щук, окуней, язей, в этой чудесной водной кладовой развелось столько, что хватает для прокорма и всем здешним птицам, и навещающим сюда рыбакам!

— Ну, Георгий, и поохотимся же мы с тобой! — от сразу же охватившего мою юную душу предвкушения знатной добычи воскликнул я. — Вперед на целый год утолим души промысловым азартом!

— Охотиться, по крайней мере, я, не буду, — словно обдав меня холодной водой, в ответ сказал Георгий. — У нас вокруг стана уток, боровой дичи в трех шагах хоть отбавляй. А, думаю, стрелять в величественного лебедя, когда полюбишься его природной, на свободе до конца расцветшей красотой, ты, скорее всего, и сам не будешь! Тем более, что стихи пишешь, что говорит о тонком природном настрое твоей души! И как следствие этого, обладаешь особенно сильным чувством восхищения прекрасным! Не знаю, к месту будет мое личное замечание или нет, но я считаю, что в природе существует три вида самых удивительных по красоте живых существ. Среди птиц — это лебедь, среди нас, человек, — это ее величество женщина, а среди животных, извини, — это лошадь! Да-да, она самая! Только не тягловая, в доску изработавшаяся, а скаковая, с длинными, словно выточенными ногами, с изогнутой, как боевой лук, длинной шеей. Я в твои годы на природу смотрел ничуть не менее азартно, даже бездумно, чем сейчас смотришь ты. Столько за многие годы настрелял всяких разных птиц, столько добыл всевозможных зверей, что, как ни старайся, и не пересчитать. И все для

того, чтобы прокормиться, быть сытым самому и семье, в которой вырос. И совсем, дурак, не задумывался, что с каждым зверем, с каждой птицей, загубленными мной вроде бы для гуманных целей, я, между тем, все больше и больше стал ощущать духовный голод, превращаясь, сам того не замечая, в обыкновенного первобытного человека, жившего исключительно ради пропитания и продолжения рода: становился злым, суровым, — душой каменел, что ли. Но после тридцати лет, как по команде свыше, в моей душе все кардинально перевернулось. Строчки твоего любимого поэта стали созвучны состоянию моей души, как никакие другие: “...К тридцати годам перебежась, / все сильней, прожженные калеки, / с жизнью мы удерживаем связь”. Мне все меньше и меньше теперь хочется убивать братьев наших меньших, а все больше и больше тянет наблюдать за их непростой, очень сложной, я бы сказал, даже трагичной жизнью, за которой наблюдать, которой любоваться — это как приходиться в церковь, где, возносясь душой к Богу, приближаешься к тайне жизни человеческой. И сюда, на Лебединое озеро, я прихожу — как бы сказать покороче?.. Во! Нашел нужные слова: за отдохновением души! Прихожу почти всегда один, на два, три дня, но от одного понимания, что вокруг меня огромный живой мир, никакого одиночества не ощущаю. Кормлюсь исключительно дикоросами: ягодами, грибами, плаваю на лодке по озеру, душой сливаюсь с птицами, с рыбами, как бы становлюсь ими. И у меня на душе становится так легко и солнечно, что возвращаться назад ну совсем не хочется. А между прочим, куда возвращаться? В эту сумасшедшую круговерть, в которой люди, исполнившись алчностью, завистью и злобой, порой ведут себя страшней самого дикого зверя? Вот мы сейчас с тобой здесь находимся для того, чтобы от общения с природой духовно зарядить свои мозги, свою душу, как батарейку от электрической сети. А в это же самое время, как ты думаешь, чем занимаются оставшиеся в стане члены бригады, из-за ненастья как бы временно оставшиеся без работы? Отвечу сам: вчера, сразу же после нашего ухода, достали бидон браги и, бьюсь об заклад, нажравшись до чертиков, сквернословили, — черта хвалили, а Бога ругали. А сегодня, с похмелья злые, как собаки, сидят за одним столом, но друг на друга даже не глядят, друг с другом не разговаривают, потому что вечернее пьяное веселье обернулось для них закономерным глубоким похмельем. Бошки, как сухое дерево на шальном зимнем ветру, не только трещат, но и словно разламываются надвое, и вертятся в них только одна-единственная поганая мысль: “Как бы скорей опохмелиться!” Значит, снова продолжить вчерашнюю пьянку. И хорошо, если бражку не всю выпили. А если выпили? К бабке ходить не надо, чтобы знать: два, три мешка овса, предназначенного для кормления рабочих лошадей, погрузили на единственный трактор и погнали в далекое якутское летнее стойбище менять на водку! Разве это жизнь? Это ее позор! Нет, наш людской тяжкий грех! Вот так-то, дорогой Ванек! Пусть я сегодня слишком разговорился, но, может, рядом со мной ты еще быстрее, чем я, поймешь, в чем заключается истинный смысл всей человеческой жизни.

Георгий замолчал, но все время, пока он, можно сказать, изливал мне невидимыми, но такими ощутимыми потоками свою очищенную от скверны душу, я глядел на него удивленными глазами, словно передо мной стоял какой-то иной человек, прежде мне совершенно не знакомый. По судьбе упрямый трудяга, которого в каком-то другом человеке еще поискать надо, кадровый охотник, которому, оказывается, важно не сколько он зарабатывает денег на том или другом поприще, а важно, ох, как важно! — иметь возможность любить, радоваться, восхищаться природной красотой и природным покоем, которые возносят его душу до небес. И там, в небесах, она то быстрокрылым звонкоголосым дроздом носится между кудрявых, озаренных золотым солнечным светом перистых облаков, упиваясь свободой, то мощным, степенным, уверенным в своих силах орлом, расправив во всю ширь свои огромные, могучие крылья, величаво и грозно парит высоко над грешным миром, осуждая и жалея его. И я подумал: “Да ведь мы с Георгием — две родственные души! Я тоже, несмотря на то что намного младше его, по большому счету люблю единение с природой. Специально, чтобы каждый день быть с ней, я хожу

в школу не по центральной улице Короленко, где всегда кто-нибудь да подвезет на мотоцикле или машине, а иду окружным путем через совхозные поля, засеянные колющейся и ходящей, как море, волнами пшеницей, когда, слетев с ближних сопок, разгуливается теплый, добрый ветер. Потом — через вековую, неоглядную тайгу, наполненную звонкими голосами разнообразных птиц, среди которых самая щедрая — кукушка — обязательно накукует с большущий короб долгих и счастливых лет. А цветистая бабочка или шелестящие на ветерке светло-зеленые листья берез и тополей неожиданно подарят поэтическую строчку, а может, даже целое стихотворение! И ты придешь в класс, словно свалившись с неба — с чистой и заполненной чувством прекрасного до самых краев души! Вдохновенно написанные в дороге строчки ученических стихов восторженно читать товарищам не будешь, но помотришь на них со стороны, отмечая про себя слабые и сильные стороны каждого!.. И к своему горькому сожалению вдруг осознаешь, что не все, далеко не все друзья-товарищи прошли твою своеобразную поверку на чистоту души и твердость взгляда!

Мои раздумья прервал Георгий:

— Да, Ванек, а у тебя действительно очень впечатлительная натура — мои слова, видать, и впрямь проняли тебя до самого сердца! Но думать над ними будешь, если, конечно, захочешь, на обратном долгом пути. А сейчас давай-ка вот как сделаем. Я немного задержусь, чтобы залить водой костер, навести порядок в зимовье, заложить дров в печь для того, кто придет после нас — таков таежный закон! А ты бери с собой собак и не спеша по тропинке выдвигайся к озеру. Хорошо?

— Хорошо, Георгий!

И я стал быстро собираться, ведь и в самом деле мне уже не терпелось полюбоваться чудесным озером, к сожалению, спрятанным от большинства людских глаз в величавой тайге. Внимательно оглядел верных собак, но в их поведении от вчерашней тревоги не было и следа, сидели рядом с приподнятыми головами, словно внимательно не только слушали наш философский разговор, но и понимали его. И все-таки вчерашнее чувство беспокойства почему-то вновь зашевелилось в моей душе, все разрастаясь и разрастаясь. словно предчувствуя пока непонятную мне опасность, я, ничего не говоря Георгию, убедился в том, что магазин безотказной “тозовки”, как всегда на охоте, полностью заряжен, затем затем на всякий случай, словно ведомый необъяснимой тревогой, зарядил ружьё двадцатого калибра патроном с пулей собственного изготовления из свинца от пришедших в негодность тракторных аккумуляторов.

Собравшись, закинул за плечо ружье, “тозовку” взял в правую руку, свистнул собак и по тропинке стал неспешно подниматься на опушку. Собаки вмиг меня обогнали и весело, виляя хвостами, без какого-то лая унеслись вперед. По крутому лобастому взгорку поднявшись к опушке, я направил взгляд в сторону озера и как вкопанный замер. Перед моим взором распахнулась довольно большая марь, поросшая низкорослыми, но очень густыми кустами ерника, сразу за которыми и начиналось Лебединое озеро. Не столько широкое, сколько длинное, оно протянулось почти до самого края мари, своим дальним изгибом теряясь в ернике, так же густо росшем на всей остальной маревой площади. Сами же озерные берега, как драгоценный алмаз, обрамлял по всему периметру сочный, еще достаточно зеленый, высокий камыш с созревающими темно-коричневыми семенниками, напоминающими кукурузные початки, только без листьев. И лишь в прибрежной зоне, прямо из озерной воды — местами сплошь, а местами в одиночку — росла острая, как лезвие сабли, осока. Уставшее томиться за тучами, как в какой-то небесной темнице, солнце, вырвавшись в огромный небесный прогал между светлых туч, горело ярко, напористо, словно хотело наверстать из-за затяжного дождя упущенное время. В еще не жарких предполуденных, золотых, до сильного свечения, лучах водная поверхность озера, местами с рябью, поднятой небольшим свежим ветерком, горела чистым серебром. Солнце слепило глаза, не позволяя до самых мелочей четко рассмотреть, что же конкретно происходит на озере. Тогда я, подняв руку, прикрыл глаза, как

защитным козырьком фуражки, ладонью, и тотчас ясно увидел огромное множество птиц самых разных видов. Утки дружно плавали целыми выводками, постоянно ныряя за очередной рыбкой или приглянувшейся водорослью. А чирки, словно кем-то напуганные, на самом деле из-за избытка сил, накопившихся за лето в крыльях, то и дело носились из конца в конец озера. Белоснежные лебеди, выделяясь из всех птиц своей совершенной, грациозной красотой, строго держались парами. И как трогательно было видеть, что некоторые из них, нежно положив свои длинные шеи друг на друга, были совершенно неподвижны, видно, дремали. Только их тени отражались чуть ли не до самого дна с хрустальными ключами, в чистой озерной воде, да еле заметный ветерок больше гладил, чем перебирал, словно человек пальцами, верхние птичьи перья.

Вдоволь налюбовавшись природной красотой, которую, конечно же, никакими стихами или красками не передать, я уже хотел спускаться с сосновой опушки, как вдруг услышал совсем недалеко собачий лай. По его высокому отрывистому тону я тотчас понял: лайют на зверя! И как было этого не понять, если собаки буквально заходились в своем неистовом, яростном выражении пугающей злобы! Чтобы точно определить, где же находятся собаки, я стал внимательно вглядываться в марь и увидел на самом берегу озера одиноко стоящую лиственницу, у которой только на излете ствола имелась небольшая игольчатая крона. В ней-то, ближе к самой вершине, я и разглядел какое-то то ли бурое, то ли светло-коричневое неподвижное пятно. В башке вихрем понеслись горячие мысли: “Наверно, собаки загнали на дерево медвежонка! Если это так, то где-то рядом должна находиться и сама медведица! Надо быть крайне осторожным!” И я с чувством, проходим на страх, внимательно, унимая невольно подскокившее сердечное колотье, огляделся, но ничего и никого на мари не увидел. Облегченно выдохнув, но все же на всякий случай сняв с предохранителя ружье, я, бросая напряженный взгляд по сторонам, стал осторожно спускаться с опушки, в любую минуту готовый к действию... Но, оказавшись уже в ернике и продравшись сквозь него метров пятьдесят по направлению к одинокому дереву, я еще раз всмотрелся в пятно и снова стал мысленно рассуждать: “Как жаль, что не захватил с собой бинокль, но это точно не медвежонок! Во-первых, пятно все-таки светло-коричневого, скорее даже темно-желтого цвета, во-вторых, намного меньше по размеру трехгодовалого медвежонка, и в-третьих, его крайне опасная мать давно бы уже одним грозным рычанием если не разогнала, то точно приструнила собак, выручая свое дитя!” Придя к такому выводу, я положил ружье в ерник, но взял на изготовку “тозовку” с твердым намерением произвести по пятну выстрел. Как только я, хорошо прицелившись, это сделал, оно зашевелилось, несколько веток упало с дерева, но неизвестный зверь остался в лиственничной кроне. Собаки, словно ободренные звуком и резко прозвучавшим в устоявшейся таежной тишине выстрелом, залаяли совсем остервенело, стали подпрыгивать, когтями лап царапая кору. Казалось, будь у них силы, они, как ястребы, взлетели бы на дерево к загадочному для меня пятну! Охотничий азарт все больше охватывал и мою юную душу. Наконец, забыв о всякой осторожности, я быстро продрался через ерник еще метров на пятьдесят, и, не раздумывая, больше опасливо не оглядываясь, вскинул “тозовку”, со всей присущей мне тщательностью прицелился и еще раз выстрелил. В этот раз пуля точно попала в цель: пятно, видать, пронзенное острой, парализующей болью, невольно расслабило мышцы и свалилось на самый край озерного берега. Сразу же между ним и набросившимися собаками завязалась яростная схватка, — лай, рычание, визг слились в один сплошной рев. Я сгоряча, бросив ружье в ернике, с одной “тозовкой” в руках, к счастью, на ходу вгоняя в ствол очередной патрон, бросился к месту схватки, как я уже понимал, не на жизнь, а на смерть. Вдруг, глубоко прорезая таежный воздух, по моим ушам с силой ударил раздражающий душу собачий взвизг, очень знакомый. В башке больно мелькнула горькая мысль: “Неужели моего Мухтара?!”

Ерник закончился, но передо мной встал стеной выше человеческого роста непроглядный камыш. Держа “тозовку” на вытянутых руках, я стал стволом

раздвигать его тугие стебли, пока не уткнулся глазами в летящий в меня бешеный взгляд раненой росомахи, в ярости готовый вцепиться в горло! И может быть, это ей удалось бы сделать, но знающий свое дело отчаянный Смелый мертвой хваткой своих острых зубов вцепился в зад опасного зверя! И тут я наугад, но удачно выстрелил в третий раз! Пуля точно пробила голову росомахи, и она замертво упала на вмиг подкосившиеся передние лапы в двух метрах от меня. “А где же Мухтар?!” — мгновенно подумал я. Быстро посмотрел вправо и увидел его. Он, с распоротым животом, с вывалившимся из пасти сухим языком, лежал в метре от меня на примятом в схватке камыше, не подавая никаких признаков жизни. Забыв обо всем на свете, я кинулся к нему, схватил его за голову трясушимися от горя руками, прижал ее к груди и горько зарыдал, как будто потерял родного брата. Слезы из глаз лились ручьями, обжигая исцарапанное в кровь об ерник лицо.

Вдруг я ощутил на плече крепкую руку Георгия:

— Ванек! Я, может, как никто другой понимаю, что значит потерять верного друга, но надо крепиться! Давай, неси Мухтара на опушку, а я следом притащу твою знатную добычу. — И тут же властно скомандовал своему Смелому: “Фу! Нельзя!” Однако собака не послушалась хозяина — продолжала железной хваткой сжимать острые клыки на мертвом теле росомахи. Тогда Георгий вынул из ножен якутский нож, подошел к Смелому и, просунув его между челюстями, разжал пасть...

А я, несмотря на то, что продолжал горько плакать, словно замороженный словами Георгия, послушно взял на руки погибшего четвероногого друга, поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, словно силы меня враз оставили, побрел на заплетающихся ногах к указанному месту. Продолжая оставаться в горестном состоянии, которое отгородило меня с собакой от всего остального мира, я, поднявшись на опушку, только и смог сделать, что сесть, вытянуть ноги, положить на них голову Мухтара и беспрерывно гладить и гладить ее, словно надеясь, что от тепла моих рук собака оживет. Тут подошел Георгий, держа на плече могучее тело злобного зверя, от которого сильно несло мочой. И, словно не замечая моего подавленного состояния, спокойно сказал:

— Я думаю, зачем нам в такую даль тащить тяжеленную росомаху? Если ты, Ванек, не против, то я аккуратно обдеру ее.

— Георгий! Делай что хочешь, как считаешь нужным, — безразлично, с глубокой горечью, словно не своим голосом ответил я.

— Эй, парень, ты давай-ка приходи в себя, да поскорей! Будь мужиком! Еще ведь Мухтара надо как следует похоронить...

— Конечно! Конечно! — спохватился, приходя в себя, я.

И, осторожно положив голову собаки на траву, встал и огляделся. На всей опушке лучшего места для могилы, чем под самой высокой сосной, с толстыми ветвями и широкой кроной, было не найти. И я в течение часа при помощи верного, острого как бритва якутского ножа и рук в слежавшемся, трудно поддающемся грунту выкопал могилу, в которой мы вместе с Георгием и похоронили Мухтара. В небольшой могильный холмик я глубоко воткнул православный крест, сделанный мной тут же из двух палок, крепко связанных между собой веревкой. Хотел в качестве прощального салюта несколько раз выстрелить вверх, но Георгий меня остановил: “Не стоит даже по такому печальному случаю лишний раз нарушать царственный покой здешней природы...” До сих пор не знаю, прав он был или не прав, но я внял его словам.

Остаться на Лебедином озере с горем на душе я не мог и прямо, хлопая носом, сказал об этом Георгию. Он мое решение принял как должное: “Ничего, полюбуемся его неповторимой красотой и птичьим изобилием в другой раз — жизнь, как быстро ни летит, длинная...”

Назад, в наш сенокосный стан, возвращались в еще более тяжелом молчании. При этом, конечно, каждый думал о своем, поскольку так уж устроен человек, что в его голове, неважно, добрые или злые мысли текут, как многоводная река, безостановочно, по ночам обращаясь в сны... А царица-погода, словно в укор нам, что мы такие смурные, буквально с каждым часом лишь улучшалась и улучшалась. Еще перед самым рассветом южный ветер,

как слетевший с горного кряжа орел, своими невидимыми, но могучими крыльями разогнал свинцовые, беременные дождем, тучи. И теперь на пронзительно синем-синем высоком небе, словно разбежавшееся по горному пастбищу стадо овец, плыли поодиночке серо-белые, ватные облака. Солнечные яркие лучи, мощным потоком льющиеся на землю, вдохновенно пятнали извилистую тропинку и все еще зеленую листву на березах и тополях. Все ошутимей и острее в свежем, глубоко вдыхаемом легкими воздухе пахло хвоей и мхом. Взбодренные теплом и светом, синицы с такой силой выплескивали в пение свою душу, что казалось, их голоса звучат с каждого дерева, с каждого куста. И, как бы меня сильно ни одолевала печаль, на сердце постепенно становилось спокойней. От неодолимого желания жить мысли, как в горе, уже не метались в башке, а текли все ровней и светлей, сначала едва журчащим тихим ручьем, а потом широкой, равнинной рекой.

— А день-то, Ванек, смотри как распогодился, ну прямо на радость!.. — прервал тягостное молчание Георгий. — Если больше дождя не будет, то, думаю, завтра к обеду скошенная трава настолько просохнет, что можно будет смело ее сгрести в валки и складывать в копны!

— А почему бы сразу не метать зарод, ведь можно же! Чего время-то зря терять! Только для этого необходимо параллельно копнению прямо с валков сено грузить на волокуши и подвозить к месту стогования.

— Верно говоришь, Ванек!

— Верно-то верно, но подожди, — вдруг, вспомнив вчерашний разговор у зимовья с Георгием, удрученно произнес я: — А кто все это делать будет — ты да я да мы с тобой, ведь сам же говорил, что мужики решили из-за непогоды, будь она неладна, гульнуть. Коли твои слова сбылись, то завтра им с похмелья ну совсем не до работы. Или я не прав?

— Прав, конечно! Только я их с утра пораньше гуртом сгоняю на Жербинку, как нашкодивших щенков, по очереди, схватив за шкуру, пополощу хорошенько в глубоком омуте со студеной водой, и, глядишь, дурной хмель-то с них как рукой враз снимет!

— Да, Георгий, только на твою силу и можно надеяться! — поддержал старшего товарища я. Но, помолчав, вдруг даже неожиданно для себя на полном серьезе спросил: — Георгий, ты, конечно, медведя из берлоги не раз поднимал, а вот что будешь делать, если он внезапно, выскочив из кустов, появится перед нами на тропинке?

— Ничего... Верней, почти ничего, поскольку, не медля ни секунды, тихим голосом попрошу тебя замереть на месте, а Смелому дам необходимую команду, чтоб он, как раз натасканный на лесного царя, с остервенелым лаем не кинулся в его сторону.

— И чем в конце концов это закончится? — не унимался я.

— Если зверь не пробовал человеческой крови, то постоит, постоит, да и, уступив нам тропинку, пойдет дальше по своим медвежьим делам. А поскольку ты вопрос, скорее всего, задал не зря, с какой-то волнующей тебя целью, то скажу и попрошу услышанное от меня хорошенько запомнить: к концу лета, когда медведь нагуляет достаточное количества жира, жизненно необходимого ему для долгой зимней спячки, он первый никогда на людей не нападает. Хотя это не значит, что в лесу можно вести себя, как у себя дома, неосмотрительно. Понял, Ванек?

— Понял!

— Вот и лады!..

И между нами снова воцарилось молчание... Но длилось оно в этот раз недолго. Смелый, бодро бежавший впереди, вдруг, резко вскинув голову, стал внюхиваться в воздух, и, видимо, что-то четко почуяв, крупным пружинистым прыжком свернул с тропинки вправо и углубился в еловый лес, сплошь перемешанный с редкими березками и осинками. Вскоре до нас донесся его звонкий лай. Георгий, резко остановившись, прислушался. Шагая, полностью погруженный в свои вновь при воспоминании о Мухтаре помрачневшие мысли, с низко опущенной головой, я чуть не налетел на него. Хотел грубо, словно взрослые мужики, выругаться, но разумно подумал: “Самому надо быть в лесу повнимательней!..” А Георгий уже по лаю определил:

— Ванек, если я не ошибаюсь, то Смелый вспугнул не больше, не меньше, а самого царя боровой дичи — глухаря!

— Прямо-таки глухаря?! — недоверчиво спросил я.

— А что гадать! Я пока немного передохну, а ты возьми на всякий случай “тозовку” да и по-быстрому сходи, посмотри своими зоркими глазами, на кого это там Смелый так заливисто лает.

С трагическим грузом на душе я, может быть, и не пошел бы, но в моем длинном списке охотничьих трофеев боровой дичи как раз глухаря не хватало... И, подчиняясь вдруг вспыхнувшему помимо моей воли охотничьему азарту, я, чтобы верно определить, с какой стороны дует ветерок, посмотрел на раскидистые вершины сосен — они слегка клонились к северу... Ага, значит, во избежание быть обнаруженным дичью мне надо, наоборот, с южной — подветренной стороны осторожно двигаться на лай. И я, удостоверившись, что за длинную дорогу каким-нибудь невероятным способом не выпало из магазина ни одного патрона, пониже пригнувшись, чтобы головой вообще шумно не задевать нижних ветвей раскидистых лиственниц, свернул с тропинки в чащу. Пройдя метров сто, заметил, что она впереди как бы расступилась передо мной. Осторожно выглянув из-за куста можжевельника, я увидел небольшую поляну, сплошь поросшую, словно застланную ковром, белым оленьим мхом, на противоположной стороне которой росла высоченная ель. Упершись в нее передними лапами, Смелый не зло, но упрямо делал свое обычное дело — лаял и лаял вверх, уверенный, что хозяин охотник не заставит ждать себя.

Всмотревшись в вечнозеленую, раскидистую крону, я ахнул — на самой высокой ветке сидел здоровенный, черный как смоль глухарь, без какой-либо тревоги смотревший вниз, как ему наверно казалось, на зачем-то лающую собаку. Чуть ниже, но почти на такой же крепкой разлапистой ветке разместились глухариха. А на срединных ветках расположились глухарята, примерно с месяц как вставшие на крыло. О такой редкой удаче я, охотник-любитель, хотя уже с солидным стажем, даже и не мечтал. Надо было только верно воспользоваться словно с неба свалившейся на меня возможностью удачно завершить охоту. А сердце между тем застучало от волнения с такой силой, что от напора крови зауhalo в висках. Руки, крепко сжимавшие “тозовку”, вспотели, и когда я их разжимал, то пусть слегка, но предательски дрожали... В конце концов охотничий азарт охватил меня настолько, что я кроме дичи вокруг ничего не видел. Казалось, всем своим зрением, всем своим слухом я слился с птицами, готовый моментально среагировать на любое их мало-мальское движение, вызванное тревогой... Чтобы быстрее унять сердцебиение, как учили в спортивной школе, я несколько раз глубоко вдохнул и сполна выдохнул воздух. Все расширявшимися от удивления глазами пересчитал глухариную семью. На пять тозовочных патронов, уложенных в магазине, приходилось аж восемь птиц! Имея за плечами достаточный опыт охоты на боровую дичь, решительно вскинул свою малокалиберную винтовку, при затаенном дыхании прицелился в самого нижнего глухаренка и выстрелил. Даже не взмахнув крыльями, он камнем упал на сухой мох, лишь задев самую нижнюю ветку. Умница Смелый тотчас не бросился к нему, продолжая настойчиво лаять. Ничуть не изменил своего поведения и глухарь. Только переступил своими мохнатыми, когтистыми лапами да, склонив шею, посмотрел чуть в сторону от пса. Поскольку один патрон уже был использован, я решил оставшимися патронами подстрелить еще двух глухарят и, конечно, их царственных родителей. И сделать это наудачу, то есть стрелять максимально быстро, как по тарелочкам, вылетающим из специального аппарата... И то ли Господь смилостивился надо мной из-за потери четвероногого друга, то ли многие часы, проведенные на стрельбище, не прошли даром, но все пули попали в цель! Глухарь оказался таким тяжелым, что, когда он упал, подломив крылья, по земле прокатился легкий гул. С последним выстрелом оставшиеся глухарята, наконец-то, словно почувствовав смертельную опасность, буквально сорвались с веток и, часто-часто махая крыльями, унеслись над самыми верхушками деревьев в глубину леса. И, честно говоря, я этому



был рад, поскольку оставалась надежда, что уцелевшие птицы продолжают свой глухариный род.

Проводив их потеплевшим взглядом, я чуть ли не бегом подбежал к беспорядочно лежащей подстреленной дичи. Однако в первую очередь погладил по голове Смелого и ласково похвалил: “Хорошо, Смелый, хорошо!” Потом оглядел свои богатые трофеи и, поняв, что один я их не вынесу из леса, громко позвал Георгия. И как только он показался на полянке, я взял за ноги в правую руку глухаря, весившего не менее пуда, а в левую — его верную подругу, и, подняв убитых птиц над землей, с сияющей улыбкой торжественно произнес:

— Георгий, смотри, какие царскими трофеями я обзавелся! Ни одну пулю не пустил в молоко! Ну прямо как настоящий снайпер!

— Да ты дичь-то положи, а то руки отвалятся, — с доброй улыбкой сказал Георгий, подходя ко мне. А заметив и трех глухарят, поразился:

— Так ты, Ванек, в азарте весь выводок перестрелял, что ли?!

— Может быть, и перестрелял бы, будь “тозовка” восьмизарядной! — хвастливо заявил я, но тут же осекся: — И дурак был бы!

— Не понял, объясни?

— Три молодых глухаря улетели, как только грохнулся глухарь! Но я этому даже рад, поскольку на следующий год они уже сами обзаведутся семьями, продолжают свой птичий род. Это же здорово!

— Согласен, здорово! Однако до стана нам с тобой еще топать да топать, а вся твоя, как говоришь, царская добыча килограммов на двадцать пять, не меньше, потянет!

— Ну, Георгий, ты меня удивляешь! Какая же это тяжесть для двоих не совсем слабых мужиков? Вполне посильная! — весело среагировал я.

— А ты вес наших совсем не хилых рюкзаков, под завязку заполненных, в расчет не берешь? Берешь, знаю! А впрочем, что пустые лясы разводить, приторачивай себе глухаря, а я захвачу остальную дичь. Дорога, дорогой друг, сама покажет, кто из нас прав!

Наши рюкзаки действительно были полны, как в таких случаях говорят, под самую завязку. Но ведь и другое говорится, а именно “голь на выдумки хитра”! Я поспешно вытащил из брезентовых штанов поясной, пусть из синтетической, но все же кожи ремень, а вместо него использовал гибкую, мягкую кору, аккуратно и умело снятую якутским ножом с длинной, сырой тальниковой ветки и словно в жгут скрученную. И при помощи ремня надежно, ведь до стана предстояло еще шагать да шагать, приторочил глухаря сверху рюкзака. То же самое сделал и Георгий, только, конечно, проворней и уверенней меня. И мы, все так же молча, наедине со своими мыслями, продолжили таежный путь. Километра два я прошел без больших усилий, но начал остро чувствовать, как лямки все большей и большей стали врезаться в плечи, хотя я во время сбора и догадался под лямки подложить по толстому и широкому куску белого мха. Потерпев саднящую боль еще с километр, я взмолился:

— Слушай, Георгий, давай хоть на пять минут присядем!

— Устал, никак?

— Лукавить не буду — есть маленько. Но не это мучает меня невмоготу, а рюкзачные лямки, которые, кажется, перерезали плечи!

Георгий не стал меня сурово попрекать. С братским сочувствием посмотрел в потухшие глаза и охотно согласился:

— А ты, пожалуй, прав — нам и правда надо немного передохнуть. Затекшее и ставшее словно свинцовым от тяжелой нагрузки тело размять, как именно, лучше меня знаешь, ведь ко всему еще и спортом увлекаешься. Что ни говори, а мы и в самом деле за полтора суток уже километров пятьдесят с гаком, да немалым, отмахали!

Быстро сбросив с плеч всю поклажу, я первым делом растянулся на уже хорошо подсохшем, мягком, как пуховая перина, высокоом мхе, который подомной сжался почти до самой земли, и почувствовал, как ее прохладное расслабляющее дыхание ласково обволокло все тело. На душе стало так хорошо, что хоть какую-нибудь светлую песню запевай. Тем не менее вскоре я поднялся и энергично тридцать раз глубоко присел, чтобы увеличить в венах крово-

ток, восстанавливающий порядком истраченные силы. Но едва я опустился на рюкзак рядом с Георгием, как подумал: “Эх, все-таки я зря поддался охотничьему азарту, причем безоглядному! Пусть бы глухариная семья и дальше до самого снега жила в мире и согласии, ну как добрые люди!” И чувствуя, что оставаться наедине с этими справедливыми мыслями мне тяжело, я поделился ими с Георгием. Он, внимательно выслушав меня, не стал успокаивать, а как-то очень уж уверенно, словно о давным-давно лично пережитом, сказал:

— Я тебя хорошо понимаю, но ты должен знать, что каждый человек, прежде чем он вырастет, когда по собственной глупости, когда по воле свыше совершает ошибки, порой совсем не малые! Но каждая из них для сильной духом натуры, в конце концов, оборачивается своеобразным чистилищем души, разума, да и, пожалуй, тела тоже. А это в будущем не позволяет наступать на одни и те же жизненные грабли, по себе знаю, очень сильно бьющие... В твоём конкретном случае и в самом деле плохо то, что ты, в общем-то, богоугодное дело совершил не ради живота своего, а ради потехи, удовлетворения самолюбия... Что касается твоей печали о глухарином потомстве, то и здесь не все так просто, поскольку тому же самцу, если бы он остался живым и невредимым, следующей весной во время токования, то есть птичьих свадеб, пришлось бы в жестоком, до пролития крови, бою завоевывать свое право на самку. И только один Бог знает, удалось бы ему это сделать или нет. Вот так, Ванек! Как сказал еще один, уверен, хорошо тебе известный поэт, “Жизнь прожить — не поле перейти...” И я с ним совершенно согласен!

Спокойные слова старшего товарища, исполненные большого жизненного опыта, несколько успокоили мою мятущуюся душу, но вместе с этим и навели, как мне казалось, на совсем не простой вопрос:

— Георгий, извини, не скажешь, почему до сих пор в бобылях ходишь? Неужели одинокая жизнь не надоела, да так, что хоть караул кричи?

— Да мы с тобой настолько за один только поход на Лебединое озеро духовно сблизились, что и на глубоко личную тему готовы перейти... И правильно: если в дружбе быть откровенным, то до конца! А ответ мой и прост, и короток: я принадлежу к категории тех, к сожалению редких, мужчин, которых называют однолюбам!

— Значит...

— Да-да, я любил, люблю и буду до конца дней своих любить одну женщину, которую встретил еще в далекой юности, несмотря на то, что она, отвечавшая мне взаимностью, клявшаяся в верности, вскоре после моего ухода в армию вышла замуж за своего одноклассника.

— И счастлива с ним?

— Скорей всего, нет! Уж больно часто и помногу он за воротник закладывает, ну и под этим делом руки распускает, словно напрочь забывает, что живет с ним не просто женщина, а женщина-мать, нарожавшая ему аж целых пятерых ребятшек.

— Ну и дела!.. — только и произнес я.

Зато Георгий, откровенно лукаво взглянув на меня, непринужденно, даже весело не замедлил поинтересоваться:

— А ты, Ванек, поди уже приглядел себе какую-нибудь девчонку? — и заметив, что стыдливая кровь прихлынула к моему лицу, от чего оно до кончиков ушей маково зарделось, продолжил: — Говори как на духу, не девица же красная, а мужик, да какой — стена!..

— Приглядел, Георгий, приглядел! И все началось с того, что она на день двадцать третьего февраля, когда всем мальчикам одноклассницы вручали подарки, преподнесла мне книгу о войне!

— Красивая?

— Очень! Белокурая такая! С длинными толстыми косами, умело уложенными вокруг головы. Я до самого отъезда на сенокос каждое воскресенье привозил ей из-за речки букет полевых цветов! И признаюсь, каждый вечер, прежде чем заснуть, вспоминаю ее, вернее, вызываю из глубины памяти — и она как живая предстает передо мной!

— Это замечательно, Ванек! Когда же еще впервые влюбляться, если не в твои годы! Только помни: мужчина по отношению к женщине должен быть

еще тем охотником — и с горячим сердцем, и с зорким глазом!.. А теперь нам пора и дальше топать. Если тебе вновь станет от своей тяжеленной добычи невмоготу, представь, что в стане, приехав каким-то чудом, тебя ждет она, так сразу всю усталость как рукой снимет, словно за спиной крылья вырастут!

Однако едва мы двинулись в путь, в мою уже давно посветлевшую голову вернулись горькие мысли о так неожиданно разыгравшейся утром на Лебедином озере трагедии. Сердце с новой силой удавкой захлестнула боль потери четвероногого верного друга.

Но тут неожиданно я стал думать: “А все-таки жизнь далеко не однообразна. Порой не совсем понимаешь ее... Еще несколько часов назад я убивался в горе. Лил скупые, но горькие слезы по Мухтару. Но стоило мне воочию увидеть боровую дичь, а главное — понять, что я могу ее добыть, как пусть не до конца, но все же забыл о своих невзгодах. Душой вновь страстно овладел охотничий азарт. Смерть дорогой собаки не остановила меня перед тем, чтобы самому не нести гибель другим, хоть и глухарям только. А почему — только? Ведь они тоже живые существа, вылупились из яиц, чтобы в своем родном лесу жить своей птичьей жизнью, как я в родовом доме. Но я взял и нещадно оборвал ее! И кто же я на самом деле после этого? Человек? Ну конечно же, он самый! Но жестокосердный! Но не совсем... Просто не научившийся по полной ценить ни свою жизнь, ни чужую жизнь. И не потому, что молод, а потому, что на этом свете еще мало страдал. И вообще, страдал ли?..”

От этого вывода мне захотелось взвыть по-волчьи. Но тут мои мысли приняли другой оборот: “Опять же, если бы жизнь человеческая с самого начала состояла из одного черного горя или была сплошь исполнена только солнечного счастья, захотел бы я жить? Скорее всего, нет! Поскольку она не быстро приелась бы, стала пресной, невкусной, как пища без соли... То-то и оно...” И я снова стал обретать присущую мне силу духа и непоколебимую веру в будущее, словно почувствовав, сколько испытаний предстоит мне выдержать и выйти из них победителем, но, увы, увы, непременно лишь — через боль и радость, через потери и обретения... Но одно я уже для себя накрепко решил — никогда больше не возьму в руки охотничье ружье...

До конца пути пришлось еще несколько раз останавливаться на небольшой отдых, необходимый для восстановления кровоснабжения плечевых мышц, а значит, и избавления от боли... В стан, погружившийся в едва проглядываемую темноту, вернулись в полночь. Но разгрузив рюкзаки с добычей, сразу почему-то забыли об усталости. Высоко в фиолетовом небе многочисленные звезды, как осенние яблоки, только серебристого цвета, вызрели и светили ярко, загадочно, словно манили к себе. Видимый даже в темноте, над понизовьем сенокосных полей и болотного кочкарника клубился густой прохладный туман. Словно напрочь запутавшись во времени, за речкой, где в прошлом году бушевал лесной пожар, куковала кукушка. Я хотел ее послушать, но подумав, что вновь обязательно наврет с три короба, не стал. Да и уж поздно было.

Георгий в отношении дурного поведения оставшихся в стане членов звена оказался прав: едва мы вошли в дом, как в нос резко и остро ударил крутой сивушный запах бражки. Помещение содрогалось от такого сильного пьяного храпа, что хоть уши затыкай. Ложиться спать смысла не было — не заснешь... Георгий, пожелав мне спокойной ночи и похлопав ободряюще по плечу, ушел спать к себе в сторожку, в которой по несколько месяцев обитал зимой с целью выполнения пресловутого плана по заготовке пушнины, а я, подбросив в догоравший костер хвороста, стал смотреть на звезды, в надежде разглядеть среди их великого множества пусть самую маленькую, но ставшую звездой душу Мухтара. Я понимал, что это сделать невозможно, но все равно как замороженный смотрел и смотрел, до боли в глазах. И как скупые слезы невольно ни стекали по моим впалым щекам, я их не утирал. Но это уже были слезы не горя, а надежды на исполненную света и любви жизнь. И сияющие звезды в бескрайнем ночном небе казались залогом всего доброго на земле.

Вроде хорошо подкормленный мной костер догорал — и я все больше, словно в глубокий речной омут, погружался в ночную темноту. Мою душу

стало охватывать чувство томящего одиночества, чего мне совсем не хотелось. Поэтому, поднявшись, я подбросил как можно больше рубленого дровяного сушняка в костер, и через минуту-другую он разгорелся вовсю, весело потрескивая, словно разговаривая со мной. А язычкое пламя, с жадностью пожирившее топливо, казалось какой-то языческой пляской, такой головокружительной, такой страстной, что я не мог оторвать от нее одновременно восхищенного и удивленного взгляда. Я словно оказался вовлеченным и в эту пламенную пляску, и в этот огненный разговор костра, — и одиночество с души сняло так быстро, будто его и совсем не было. Постелил рядом с костром старую фуфайку, под ее край вместо подушки подсунул большое полено и поудобнее лег набок. Жаркое тепло, волнами исходящее от костра, переживания от потери Мухтара и долгое возвращение в стан сделали свое дело: я не помню как, но погрузился глубоко в безмятежный сон. Не скажу точно, сколько времени проспал, но проснулся от ощущения прохлады и сырости, успевших заползти под одежду, так охватить тело, что по нему густо побежали мурашки. Костер, видно, давно догорел, лишь несколько головешек красиво атели внутренним жаром и едва дымились. Набросав их друг на друга, а сверху положив хворост и несколько сухих березовых поленьев, я, оперевшись руками о теплую землю, несколько раз сильно подул на головешки, — они послушно вспыхнули, пламя перекинулось на хворост — и костер стал разгораться по новой. Солнце еще не выглянуло из-за тайги, но своими красно-золотыми лучами уже вовсю озарило край неба, словно ощупывая извечную небесную дорогу перед собой. Но и этого вполне хватило, чтобы ночная темнота постепенно, все слабей и слабей, отступила перед ранним рассветом. Утренняя, густая, темно-изумрудная отава была сплошь усыпана капельками серебристой росы — от нее-то и несло неуютной сыростью. Клубящийся в аласовых низинах и над речкой Жемпинкой белесый туман стал едва заметно для глаз подниматься вверх. Не отрываясь смотря на него, я с радостью подумал: “День сегодня выдастся на загляденье — солнечным, жарким! Самое золотое время метать в стога душистое светло-зеленое сено!”

Вдруг у меня за спиной послышался шум, я тотчас оглянулся — из дома на длинное крыльцо вышел тракторист Сергей. Со хмельного сна меня не видя, он чуть ли не подбежал к лежащей бочке из-под бензина, приспособленной нами под емкость для питьевой воды, лихорадочно сбросил деревянную крышку с прямоугольного отверстия, специально вырубленного при помощи зубила и молотка, чтобы можно было наливать воду в бочку или, наоборот, брать из нее, зачерпнул полный литровый ковшик поостывшей за ночь и потому ломящей зубы воды и стал ее большими глотками с жадностью пить. В такт большим глоткам — то вверх, то вниз — ходил и его кадык, сильно выраженный от природы. До последней капли опустошив ковшик, Сергей небрежно положил его на место, утер губы и подбородок грязным рукавом рабочей рубашки, достал из помятой пачки папироску, стал чиркать спичку за спичкой, но ни одна из них долго не вспыхивала — то ли они отсырели, то ли руки у бедного Сергея тряслись так, что тонкие спички ломались. Наконец желанный огонь вспыхнул, и не менее жадно, чем пил воду, Сергей задымил табаком. Сделал три глубоких затяжки, с шумом надсадно выдохнул папиросный дым и вернулся к крыльцу, у которого грузно опустился на чурку, с глазами, в которых читалось только одно: “Эх, сейчас бы еще и опохмелиться!”

Но пока он стоял на крыльце, мне хватило одного взгляда, чтобы отметить, как за двое суток почти до неузнаваемости изменилось его и без того некрасивое, как бы одутловатое лицо. Обычно перед тем, как лечь спать, мы из сена и конского сухого навоза разводили в ведре дымок и на полчаса заносили его в дом. Вся насекомая тварь: комары, мошки, разные конские слепни, паузы, не вынося прогорклого, очень ядовитого “окуривания”, с писком, с жужжанием вылетала из помещения на улицу. Мы тотчас следом за ними опускали на дверной проем специальный марлевый полог и, никем и ничем не тревожимые всю ночь, спокойно отдыхали от тяжелых дневных трудов. Но, загуляв, так сказать, по-черному, члены нашей бригады забыли обо всем на свете, в том числе и о вездесущих днем и ночью насекомых. Зато о них совсем не думали забывать насекомые, они, наоборот, словно и

ждали, когда же наконец люди совершат какой-нибудь угодным им промах! И лицо Сергея являло тому яркий пример. Во-первых, оно от многочисленных укусов распухло, во-вторых, стало чесаться, и во сне, пребывая в пьяном, почти бессознательном состоянии, Сергей невольно, чтобы хоть как-то избавиться от чесоточной муки, грязными ногтями давно не мытых рук места укусов расцарапал до крови! В общем, и смех, и грех! Вскоре из дома по одному стали медленно, щурясь от солнечных лучей, выходить и остальные гуляки. И все, будто сговорившись, сразу же, как оказывались на улице, бросались к питьевой бочке. Естественно, их лица понесли от насекомых такой же значительный урон, как и у Сергея. Последним вышел бригадир Василий Иванович, видимо, поднимал все никак не хотевших встать членов звена. Увидев меня, сидящего у ярко горящего костра, он, видать, перебив похмельную жажду, подошел ко все еще горевшему костру, якобы с целью подбросить хвороста:

— Здорово, Ванек!

— Здравствуйте, Василий Иванович! — ответил я. И, смотря на его обезображенное лицо, не знал, что делать: то ли плакать, то ли смеяться! Но бригадир, чувствуя передо мной, как перед сыном своего начальника, конкретную вину за внезапно разыгравшуюся с его непосредственным участием пьянку, помялся немного и продолжил начатый разговор:

— А чего ты такой шибко печальный, осунувшийся? Стряслось что-нибудь с Георгием? Где он сейчас?!

— Успокойтесь, Василий Иванович! С Георгием как раз все хорошо, он у себя, отдыхает. А я вот потерял Мухтара!

— Как потерял? В лесу, что ли?

Мне ничего не оставалось, как поведать бригадире все о наших с Георгием таежных приключениях. Молча, не перебивая, бригадир выслушал меня до конца и выразил мне глубокое сочувствие по поводу гибели любимой собаки. Потом, как бы оправдываясь, заговорил:

— Ванек, ты, наверное, меня осуждаешь? Мол, бригадир, вроде непьющий человек, но не только не пресек пьянку, а и сам ударился в нее!

— Да не осуждаю я вас, Василий Иванович! — может быть, впервые в жизни непринужденно солгал я. — Сам порой не знаешь, какую гадость вдрут с того ни с чего выкинет жизнь, словно чертом опутанная.

— Ну и за это спасибо! — ответил бригадир и пошел к остальным членам бригады, сгрудившимся возле тракториста Сергея и что-то тихо между собой обсуждавшим. С “бугром”, как они называли между собой Василия Ивановича, завязался более оживленный разговор.

К этому времени природа окончательно пробудилась: сразу за домом в лесу запели во все свои звонкие голоса многочисленные перелетавшие с ветки на ветку синицы, скворцы и чижи. Очень скоро их разноголосое пение слилось в единый, стройно звучащий, словно кем-то с неба дирижируемый хор. На противоположном конце поляны в березовой роще размеренно, с редкими перерывами закуковала извечная лгунья — кукушка. А за небольшой, сбегавшей с дальней сопки речкой, в которой водилось столько хариуса, что хоть руками лови, Смелый делал свое обычное дело — залиvisto и терпеливо облаивал какую-то боровую дичь. Поэтому разговор между мужиками, перекрываемый светлыми звуками нарождающегося дня, был мне совершенно не слышен.

Однако вскоре ко мне подошел Сергей:

— А правда ты добыл аж саму росомаху?

— Правда, Сергей!

— Ничего не скажешь, улыбнулась тебе, Ванек, редкая удача! Не всякий кадровый охотник за всю свою промысловую жизнь может похвалиться такой чрезвычайно редкой в наших таежных местах добычей. Интересно, а что ты думаешь делать с ценной шкурой? — И, не дождавшись от меня хоть какого-нибудь ответа, продолжил: — А я бы, к примеру, сделал чучело, поставил бы его в квартире на самом видном месте, мол, смотрите, дорогие гости, я тоже в охотничьих делах не лыком шит! Да и где шкура-то — хоть глазом бы взглянуть!

— Сергей! О чем ты говоришь — какое чучело?! Я после гибели Мухтара на эту шкуру смотреть-то спокойно не могу! Но если тебе и впрямь хочется взглянуть на нее, то знай: она находится у Георгия в избушке, он взял ее на необходимую обработку...

Услышав мое сообщение, Сергей не бросился к Георгию смотреть шкуру, а продолжал нудно стоять. И тут до меня дошло, что он завел со мной разговор о росомaxe совсем по другой причине. По какой именно — я уже почти догадывался, но решил молчать — пусть ее выскажет сам. Но вместо этого Сергей продолжал свой вроде бы бесхитростный разговор:

— Ванек, я вот наблюдаю за тобой и удивляюсь: где это ты успел научиться так лихо ездить на тракторе? Завтра ты по графику дежуришь на стане, а я должен вывезти из тайги жерди, которые еще в прежний дождь всей бригадой заготавливали. Если хочешь, так сказать, поругать, то я охотно готов с тобой поменяться местами!

— Сергей, большое спасибо за предложение! Я, даст Бог здоровья на завтрашний день, обязательно им воспользуюсь.

Тут мне надоело в пустом, ничего не значившем разговоре ходить вокруг до около настоящей причины, из-за которой Сергей и подошел ко мне. И я напрямик, так сказать в лоб, спросил его:

— Сергей, интересно получается, спрашиваешь о ценной шкуре росомахи, а сам даже и не думаешь идти ее смотреть! Говори напрямую, что от меня надо-то? Не дурак, может, и пойму!..

В ответ он тотчас решительно показал в сторону мучающихся с похмелья мужиков и уважительно так попросил:

— Ванек, сделай доброе дело, подари шкуру бригаде, тем более что после гибели пса смотреть на нее не можешь!

— Хорошо, подарю! — ни секунды не сомневаясь в правильности своего поспешного решения, сказал я. — Только что вся бригада с ней делать будет? На стельки для валенок раскроит, чтобы предстоящей зимой, как всегда морозной, понадежней утеплиться?

— Какие стельки, Ванек! Да опохмелить их срочно надо — и все дела!

— А как вы это сделаете с помощью шкуры? — удивленно спросил я.

— Да проще простого! В Какальре, где мы прошлым летом сено заготавливали, круглогодично живет якут-телефонист, когда-то взявший себе в жены русскую женщину. Да ты о его судьбе, коль в прошлом году сенокосил в тех местах, и сам не можешь не знать! Детишек с женой он наплодил — один другого меньше! Естественно, казенных денег на житье-бытье вечно не хватает! Вот он и тайно приторговывает спиртным, благо надобность в нем у охотников очень даже часто случается. На тракторе я слетаю к нему, выменяю шкуру на несколько бутылок и уже к обеду вернусь назад! Опохмелимся с ребятами и еще сегодня до ночи не один стог сена успею поставить!

— Дальше можешь не говорить, все ясно! — перебил я Сергея. И уже сам решительно подвел черту в затянувшемся разговоре:

— Ну а что тогда стоишь? Голову мне морочишь! Бери шкуру и дуй к якуту — дорога-то неблизкая, до Какальра, однако, не меньше тридцати километров — и все тайгой, через трясины да болота!

В течение пяти минут трактор, заправленный соляжкой под самую горловину, уже тархтел, попыхивая сизым дымком. Сергей с мешком, в котором лежала еще сырая шкура росомахи, спешно плюхнулся на сиденье, крепко взялся руками за баранку, нажал правой ногой на педаль газа до упора — и трактор, взревев, словно сноровистая лошадь, встал на дыбы. Задние ведущие колеса на месте провернулись несколько раз, раздирая травянистый дерн в клочья и выбрасывая их далеко назад, потом трактор резко грохнулся передними колесами на дорогу и на полной скорости, густо чадая черным дымом, помчался в Какальр.

Проводив взглядом бедный трактор, словно человека, незаслуженно страдавшего от рук шаромыжнего мужика, я снова обратил свое внимание на перепивших вчера членов бригады, и сегодня шибко страдающих с похмелья. Многие из них почти не отходили от питьевой бочки, пытаясь водой

притушить бушевавший в организме пожар. А если не пили, то беспрестанно, одну за другой, выкуривали папироски. Особенно тяжело было одному молодому парню. Он со своим распухшим и разодранным в кровь лицом ходил взад-вперед около крыльца, прижимая к груди крест-накрест сложенные руки, глубоко постанывая. Меня поразил цвет его лица — он был блее зимнего снега и отливал мертвенной синевою! Я встревоженно среагировал на это, — как приучили меня в спортивной школе, до и после каждого занятия замерять пульс с обязательным занесением в специальную тренировочную тетрадь его данных, подойдя к парню, взял его левую руку за запястье, а глазами засек время на часах. Мой замер показал, что пульс у парня чуть ли не зашкаливал за двести ударов в минуту! Поэтому-то он, с обильной испариной на лбу, и прижимал руки к груди, словно боялся, что сердце не выдержит похмельной нагрузки и может выскочить из грудной клетки! Мне за его жизнь стало страшно, и я почему-то вспомнил анекдот, который подслушал, когда его рассказывал моему отцу напарник по игре в шахматы.

В Гражданскую войну в плен к белогвардейцам попал боец, воевавший за красных. Его заперли в сарае под замок, к дверям поставили часового и стали сообща думать, как же с ним, заклятым врагом, по квитаться. Один белогвардеец говорит:

— А что с ним цацкаться, выведем из сарая, поставим к стенке и расстреляем!

Другой возмутился:

— Да это проще простого! А надо сделать так, чтобы он перед смертью еще и помучился, гадина! Поэтому его надо повесить!

Тут свое мнение высказал третий белогвардеец:

— А я думаю, что его, эту красную сволочь, надо сегодня напоить так, чтобы он лежа покачивался, а утром не опохмелить!..

Тут между белогвардейцами на некоторое время воцарилась глубокая и несколько затянувшаяся тишина. Потом во время обсуждения судьбы красноармейца молчавший четвертый белогвардеец чуть ли не простонал:

— Ну, ты, друг, и жестокий!

Когда я услышал этот анекдот, то своим детским умишком никак не мог понять, в чем же именно заключалась жестокость в предложении третьего белогвардейца. Теперь, став свидетелем страшных похмельных мук своих старших товарищей по работе, до глубины души понял!

Странно все-таки, вернее загадочно, устроен человек. Еще вчера я чуть ли волком не выл от отчаянья и душевной боли, потеряв свою любимую собаку. На долгой обратной дороге к стану, вспомнив росомаху, чье обесшкуренное мертвое тело осталось валяться на опушке леса и которое, скорее всего, волки или другие звери уже обглодали до самых костей, — и через неделю-другую в одну ночь пожелтевшая листва осыплется на землю — и от матерого зверя не останется и следа, — мне стало жалко и росомаху. Ведь, честно говоря, ее вина, если можно так сказать, заключалась в том, что она несколько километров скрадывала нас, свою, как ей казалось, законную добычу, да вот беда — сама оказалась добычей. Сегодня, видя, как с глубокого похмелья мучаются не чужие мне мужики, которых всего час назад я готов был ругать и обязательно это бы сделал, будь годами ровней им, мне и их стало до слез жалко. И я уже не думал о том, сколько мы успеем до вечера сметать стогов сена, а словно душевно слившись с ними в тяжких похмельных мучениях, все чаще и чаще смотрел на то место в тайге, откуда вот-вот должен показаться трактор, лихо управляемый Сергеем. И мысленно страстно молил русскую женщину, жену якута-телефониста, чтобы ей понравился ценный мех, из которого, как раз к недалекой зиме, можно сшить не только шикарный воротник для пальто, но и новую прекрасную модную шапку, чтобы она упростила мужа сделать ей дорогостоящий подарок. А какой настоящий мужчина упустит шанс сделать приятное своей любимой женщине? По опыту своего бравого отца я знал — никакой!

Ну почему, когда ждешь помощи, так долго, невыносимо долго тянется время?! Слово Господь лишний раз испытывает человека на излом, что только сильные духом люди имеют право на счастливую жизнь. Наконец, из

тайги, работая на полных оборотах, надсадно тарахтя, с черным шлейфом дыма, который, вырываясь из выхлопной трубы, волнообразным шлейфом стлался по воздуху, на еще в самом начале сенокосной страды выкошенную поляну вылетел управляемый Сергеем долгожданный трактор, лихо подрулил к стану и, схваченный за все четыре колесных диска тормозными колодками, встал как вкопанный на своем привычном месте. Непривычно легко перекинув ноги через крыло заднего колеса, на землю прыгнул и сам Сергей с сумкой в руке, которую осторожно опустил на землю и к общей радости жутко страдающих мужиков вынул из нее две бутылки чистейшего спирта. Да не просто вынул, а еще и торжествующе поднял их на уровень плеч, как обычно с большущими рыбинами делает удачливый рыбак. Что тут стало твориться! Как по мановению волшебной палочки все мужики, за исключением одного, самого молодого, у которого сердце билось на крайнем пределе, бросились врассыпную: кто выметать сор из дома, кто мыть-перемывать накопившуюся за двое суток посуду, горой возвышавшуюся над разделочным столом, кто накрывать на стол. Один бригадир не принимал никакого участия в подготовке долгожданного похмеля. Наоборот, он подошел к Сергею и забрал у него одну бутылку спирта:

— Спирт чистый?

— Еще бы! Сам проверял — медицинский! — ответил Сергей.

— Вот и ладно: когда разведете, получится целых две бутылки водки. На поправку здоровья такого количества достаточно. И чтоб после обеда все, как один, вышли стога метать. И так уже столько золотого времени упустили, черт бы вас побрал, окаянных! Да и я тоже хорош...

Как всегда, неожиданно, словно из-под земли, подошел Георгий, выспавшийся, чисто одетый, готовый немедленно приступить к работе. Бригадир вежливо обратился к нему:

— А ты, наш незаменимый охотник-косарь, пока эти алкоголики приходят в себя, будь добр, запряги лошадей в волокуши. Добро?

— Конечно, Василий Иванович! — ответил Георгий и, ободряюще подмигнув мне, тут же направился выполнять задание.

А мои возбужденные мозги все никак не покидала угрюмая мысль о россомахе, цена которой на вынужденную поверку оказалась всего две бутылки спирта, пусть и чистейшего. Но вспомнив молодого парня, который мог и в самом деле, вовремя не опохмелившись, умереть от разрыва сердца, я подумал: “Да, цена шкуры россомахи оказалась действительно небольшой, но она могла, случись страшное с парнем, взлететь и до цены человеческой жизни! Только вот есть ли на свете такая цена? По крайней мере, я не знаю. И может, не узнаю никогда...”